Бернард Шоу

Святая Иоанна

Историко-философская драма

1923

Перевод - Ольга Петровна Холмская, Наталия Леонидовна Рахманова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Жанна действительная и Жанна предположительная

Жанна д’Арк, деревенская девушка из Вогез, родилась около 1412 года, была сожжена за ересь, ведовство и колдовство в 1431-м, кое-как реабилитирована в 1456-м, провозглашена преподобной в 1904-м, объявлена блаженной в 1908-м и, наконец, причислена к лику святых в 1920-м. Самая выдающаяся святая воительница от рождества Христова и самая большая чудачка среди эксцентричных фигур средневековья; рьяная и как нельзя более благочестивая католичка, она была вдохновительницей крестового похода против гуситов и, в сущности, одной из первых протестантских мучениц. Кроме того, она принадлежит к числу первых апостолов Национализма и она же первая во Франции ввела в практику наполеоновский реалистический метод ведения войны, отказавшись от спортивной игры ради выкупа, какая велась рыцарством той эпохи. Первая поборница целесообразной женской одежды, она, подобно шведской королеве Кристине, правившей два века спустя, да и Каталине де Эраузо[1] и бесчисленным оставшимся неизвестными героиням, которые переодевались в мужское платье и служили солдатами и моряками, отказалась принять специфический женский удел и одевалась, сражалась и вела солдатскую жизнь наравне с мужчинами.

Поскольку она сумела утвердить себя всеми этими способами с такой энергией, что прославилась на всю Западную Европу, еще не выйдя из отроческого возраста (да, собственно, она так из него и не вышла), то неудивительно, что ее сожгли по суду за якобы целый ряд тяжких преступлений, караемых смертной казнью, которые в наше время уже не наказуются таким образом и которые принято у нас называть неподобающим и недопустимым для женщины поведением. В восемнадцать лет притязания Жанны уже превосходили притязания самого гордого из пап римских или самого высокомерного из императоров. Она утверждала, что она посланница и полномочная представительница самого Бога и что, еще будучи во плоти, она принадлежит к торжествующей церкви. Она покровительствовала своему королю и требовала от английского короля покаяния и повиновения ее приказам. Она поучала государственных деятелей и прелатов, говорила с ними свысока и командовала ими. Она пренебрежительно отвергала планы генералов и приводила их войска к победе на основании собственных планов. Она питала безграничное, нескрываемое презрение к официальным взглядам, суждениям и авторитетам, а также к тактике и стратегии военного министерства. Будь она мудрецом и монархом, в котором слились воедино освященная веками духовная власть и славнейшая династия, ее претензии и поведение были бы столь же раздражающими для бюрократического мышления, что и претензии Цезаря для Кассия. Но коль скоро она была всего только выскочкой, то о ней существовало лишь два мнения: либо что она наделена сверхъестественной силой, либо что она невыносима.

Жанна и Сократ

Если бы Жанна была зла, эгоистична, труслива или глупа, она стала бы одной из самых отталкивающих личностей в истории вместо того, чтобы стать одной из самых привлекательных. Будь она достаточно опытна, чтобы понимать, какое впечатление она производит на мужчин, унижая их тем, что оказывалась права, когда они были не правы, и научись она им льстить и обводить их вокруг пальца, она, быть может, прожила бы столько же, сколько королева Елизавета. Но она была слишком молода, неотесана и неопытна и не знала всех этих хитростей. Когда ей противоречили те, кого она считала дураками, она не скрывала, что она о них думает и как их глупость ее раздражает. По своей наивности она воображала, будто они должны быть благодарны ей за то, что она выводит их из заблуждения и вызволяет из беды. Надо сказать, что незаурядным личностям всегда невдомек, в какую ярость приводит людей недалеких разоблачение их глупости. Даже Сократ, несмотря на свой возраст и опытность, не сумел защитить себя на суде, как подобало человеку, понимающему, почему так долго копилась обрушивавшаяся на него ярость и почему требовали его смерти. Его обвинитель, родись он на 2300 лет позже, мог быть любым из тех, что в утренние или вечерние часы «пик» едут в Сити и из Сити в вагоне первого класса; обвинителю, по сути, нечего было сказать кроме того, что ему и ему подобным неприятно оказываться в дураках каждый раз, как Сократ откроет рот. Сократ же, не понимая, в чем его обвиняют, чувствовал себя совершенно беспомощным; он сообщил судьям, что он старый воин и честный человек, а его обвинитель безмозглый сноб, и на этом выдохся. Он и не подозревал, какой страх, какую ненависть порождает его интеллектуальное превосходство в сердцах людей, к которым сам он испытывал лишь добрые чувства и которым делал добро.

Сопоставление с Наполеоном

Если Сократ был так наивен в свои семьдесят лет, то можно себе представить, как наивна была Жанна в свои семнадцать. Но если Сократ, обладавший даром убеждения, воздействовал на людские умы постепенно и мирно, то Жанна, начиненная энергией, воздействовала на людей физически, бурно и насильственно. Потому, очевидно, Сократа и терпели так долго, а Жанну уничтожили прежде, чем она вышла из отроческого возраста. При этом у обоих колоссальные способности сочетались с искренностью, отчего бешеная неприязнь, жертвами которой они пали, была совершенно неоправданна и поэтому для них самих непостижима. Наполеон тоже обладал колоссальными способностями, но не был наделен ни их искренностью, ни бескорыстием и поэтому не питал никаких иллюзий относительно характера своей популярности. Когда его спросили, как мир воспримет его смерть, он ответил: «Вздохнет с облегчением». Но для гигантов духа, не испытывающих ненависти к своим ближним и отнюдь не намеренных причинить им вред, очень трудно уразуметь, почему ближние их ненавидят и хотят уничтожить. Хотят не только из зависти — оттого, что чужое превосходство ранит самолюбие, — но и из смиренного чистосердечного страха перед ними. Страх толкает людей на любые крайности, а страх, внушаемый существом высшего порядка, загадочен, и рассеять его доводами рассудка невозможно. Он настолько непостижим, что становится невыносимым, когда нельзя предполагать или гарантировать доброжелательство и моральную ответственность этого высшего существа, — другими словами, когда оно не имеет официального статуса. Узаконенное, установленное обычаем превосходство Ирода и Пилата, Анны и Кайафы внушает страх, но страх объяснимый, с достаточно измеримыми последствиями, которых можно избежать, — страх благотворный и спасительный, — такой страх выносить можно. А вот загадочное, вселяющее страх превосходство Христа исторгает вопль «Распни его!» у всех, кому не дано постигнуть его доброжелательность. И, таким образом, Сократ выпивает цикуту. Христос повисает на кресте, а Жанна сгорает на костре. Наполеон же, хоть и кончает жизнь на Святой Елене, по крайней мере умирает в своей постели. Да и многие наводящие страх, но вполне понятные и узаконенные мерзавцы умирают естественной смертью во всей славе земных своих царств, тем доказывая, что куда опаснее быть святым, нежели завоевателем. Те, кто сочетают в себе обоих, как, например, Магомет и Жанна, делают открытие, что святого спасет только завоеватель и что поражение и плен означают мученичество. Жанну сожгли, и ни один из ее соотечественников и пальцем не шевельнул, чтобы спасти ее. Соратники, которых она привела к победе, и враги, которых она разбила и опозорила, король французский, которого она короновала, и король английский, чью корону она сбросила в Луару, — все были одинаково рады избавиться от нее.

Была ли Жанна виновна?

Коль скоро результата, достигнутого Жанной, может добиться и низменное ничтожество, и великая возвышенная душа, нужно разобраться — кто же из двух действовал в данном случае. После тщательного и добросовестного судебного разбирательства современники решили дело не в ее в пользу, а отмена вердикта двадцать пять лет спустя, хотя и имела вид реабилитации Жанны, в сущности, лишь подтвердила законность коронации Карла VII. И только внушительное и единодушное суждение потомков — высшим воплощением его стала канонизация Жанны — аннулировало наконец первоначальный процесс и поставило ее судей перед судом, который пока что значительно более несправедлив, чем их суд над нею.

Процесс реабилитации, каким бы липовым он ни был, как-никак представил достаточно свидетельств, способных убедить всех благоразумных скептиков в том, что Жанна не была ни мегерой, ни шлюхой, ни колдуньей, ни богохульницей, идолопоклонствовала не больше, чем сам папа римский, и не делала ничего дурного, кроме того что воевала, носила мужскую одежду и отличалась дерзкой отвагой. Более того, она была добродушна, непорочна, очень благочестива, очень воздержанна (мы бы назвали ее пищу аскетической — хлеб, смоченный в дешевом вине, которое во Франции все равно что питьевая вода), очень доброжелательна и, хотя была храбрым и стойким солдатом, не терпела распущенного языка и распутного поведения. Она взошла на костер, не имея ни единого пятна на совести, если не считать излишней самонадеянности или, как тогда говорили, самовозвеличения, которые ее туда и привели. Поэтому было бы напрасной тратой времени доказывать сейчас, что Жанна из первой части хроники времен Елизаветы о Генрихе VI (состряпанной, как предполагают, Шекспиром) из ура-патриотических соображений грубо клевещет на Жанну в заключительных сценах. Грязь, которой ее забросали, уже отвалилась полностью, так что современному писателю нет нужды отмывать от нее Жанну.

От чего избавиться труднее, так это от грязи, которую бросают в ее судей, и от лакировки, которая изменила ее самое до неузнаваемости. Когда ура-патриотическая клевета сделала свое дело, сектантская клевета (в данном случае протестантская) использовала ее сожжение для борьбы с римской католической церковью и инквизицией. Простейший способ изобразить представителей этих организаций злодеями в мелодраме — сделать героиней этой мелодрамы Деву. Но это чистейший вздор. Церковь и инквизиция судили Жанну куда более правым судом, чем нынешний светский суд судит обвиняемых сходного типа и в сходной ситуации. И приговор был вынесен строго по закону. И Жанна вовсе не была героиней мелодрамы, то есть страдающей любовным недугом красавицей, паразитирующей за счет столь же красивого героя. Она была гениальной святой — полной противоположностью героине мелодрамы, настолько полной, насколько это в человеческих возможностях.

Уточним значение понятий. Гением мы называем того, кто видит дальше и постигает глубже других, а также обладает иной системой этических оценок и энергией, позволяющей претворить свое особое видение и свои оценки в деятельность, максимально соответствующую его особым дарованиям. Святым мы называем того, кто применяет на практике свои героические добродетели, кому доступны откровения, кто обладает способностями того порядка, которые церковь относит к разряду «сверхъестественных», и вследствие всего этого он подлежит канонизации. Если историк окажется антифеминистом, не признающим за женщинами талантов в традиционно мужских сферах, то ему никогда не понять Жанну, чьи таланты нашли себе применение главным образом в военном деле и политике. Если историк окажется рационалистом, достаточно последовательным, чтобы отрицать существование святых и считать, что новые идеи возникают исключительно в ходе сознательного мыслительного процесса, то ему не передать характера Жанны. Ее идеальный биограф должен быть свободен от предрассудков и предубеждений XIX века, должен понимать средние века, римскую католическую церковь и Священную Римскую империю гораздо глубже, чем их понимают наши историки виги. И наконец, он должен уметь отделаться от сексуальных пристрастий и романтических представлений и рассматривать женщину просто как представительницу женской части рода человеческого, а не как особый вид животного со специфической обольстительностью и специфической безмозглостью.

Красота Жанны

Выражаясь без обиняков, любую книгу о Жанне, для начала описывающую ее как красавицу, можно отнести к разряду фантазий. Ни один из товарищей Жанны, будь то в деревне, при дворе или в военном лагере, даже превознося ее в угоду королю, никогда не утверждал, что она хороша собой. Все мужчины, упоминавшие о ее наружности, твердо стояли на том, что как женщина она была на удивление непритягательна. Это тем более казалось непонятным, что она была в расцвете юности, и никто не мог бы назвать ее уродливой, увечной, нескладной или физически отталкивающей. Секрет же, совершенно очевидно, состоял в том, что, подобно большинству женщин ее самоуверенного, властного типа, она оставалась вне борьбы полов, так как мужчины слишком боялись ее, чтобы в нее влюбиться. Не то чтобы она была бесполой: несмотря на обет девственности, который она дала на время и соблюдала до своей смерти, она вовсе не исключала для себя возможности выйти замуж. Но брак, со всей предварительной подготовкой, с завлечением, преследованием и поимкой супруга, ее не занимал, — у нее были другие дела. Формула Байрона — «В судьбе мужчин любовь не основное. Для женщины Любовь и жизнь — одно» — была неприменима к ней так же, как к Джорджу Вашингтону или к любому другому деятелю мужского пола, избравшему героическое поприще. Будь она нашей современницей, открытки с ее портретом, возможно, и продавались бы, но с портретом в роли генерала, а не гурии. Тем не менее есть основание думать, что лицо у нее было совершенно замечательное: орлеанский скульптор современной ей эпохи создал статую молодой женщины в шлеме; лицо ее так своеобразно выполнено, что это явно не идеальный образ, а портрет, и в то же время оно настолько индивидуально, что не похоже ни на одну из тех женщин, которых обычно видишь. Предполагается, что Жанна, сама того не зная, послужила скульптору моделью. Доказательств этому нет. Но необычайно широко расставленные глаза так неотразимо рождают вопрос: «Если эта женщина не Жанна, то кто она?», — что я обойдусь без других доказательств, и пусть те, кто со мной не согласен, попробуют доказать обратное. Замечательное лицо, но совершенно неинтересное с точки зрения любителей оперных красоток.

Такой любитель будет, вероятно, окончательно разочарован тем прозаическим фактом, что Жанна была ответчицей в судебном процессе по поводу нарушения брачного обязательства, сама защищала свое дело и выиграла его.

Общественное положение Жанны

Жанна родилась в семье крестьянина, одного из старейшин деревни, который вел все феодальные дела с соседними сеньорами и их поверенными. Когда владельцы замка, в котором жители деревни имели право укрываться во время набегов, бросили его, отец Жанны снял его в аренду вместе с еще пятью-шестью крестьянами для того, чтобы прятаться там при угрозе нападения. В детстве Жанне случалось тешить себя игрой в юную владелицу замка. Впоследствии ее мать и братья смогли разделить с ней жизнь при дворе и при этом не сделать из себя посмешища. Эти сведения не дают нам никакого права следовать расхожему романтическому вымыслу, который каждую героиню превращает либо в принцессу, либо в нищенку. В сходном случае с Шекспиром целое нагромождение пустых изысканий покоится на гипотезе, что он был неграмотным выходцем из простонародья, хотя широко известно, что отец его занимался торговлей, одно время очень преуспевал и был женат на женщине, претендовавшей на благородное происхождение. Существует та же тенденция низводить Жанну до положения наемной пастушки, хотя на ферме в Домреми[2] настоящая наемная пастушка почтительно именовала бы ее барышней.

Разница между первым и вторым случаем в том, что Шекспир, в отличие от Жанны, не был неграмотным. Он ходил в школу и знал латинский и греческий равно в той же мере, в какой помнит их большинство студентов, кончающих университет без отличия, то есть по существу совсем не знал. Жанна, та была абсолютно неграмотна. «Я не отличу А от Б», — говорила она. Но то же могли бы сказать многие принцессы того времени, да и гораздо позже. Например, Мария Антуанетта в возрасте Жанны не умела правильно написать свое имя. Но это не значит, что Жанна была невежественна или что она страдала от неуверенности и ощущения социального неравенства, испытываемого в наше время людьми, которые не умеют ни читать, ни писать. Если она и не могла писать писем, то могла их диктовать, и так она и поступала, придавая им важное, более того, чрезмерное значение. Когда ее в лицо называли пастушкой, она искренне сердилась и предлагала любой женщине потягаться с ней в домашних работах и рукоделиях, которыми должна была владеть хозяйка зажиточного дома. Она разбиралась в политической и военной обстановке во Франции значительно лучше, чем большинство наших современных женщин с университетским образованием, вспоенных и вскормленных на наших газетах, разбираются в соответствующей обстановке в собственной стране. Первым, кого она обратила и заставила поверить в себя, был комендант крепости Вокулер; обратила она его рассказом о поражении войск дофина в «битве селедок» — рассказом, настолько опередившим официальное известие, что он усмотрел тут Божественное откровение. Однако нет ничего удивительного в том, что в охваченной войной стране крестьяне были знакомы с положением дел и интересовались ими. В их жизнь так часто вторгались политики с мечом в руках, что игнорировать их было невозможно. Семейство Жанны не могло позволить себе остаться в стороне от того, что творилось в феодальном мире. Они не были богаты, и Жанна трудилась, как и отец, помогала ему по хозяйству, выгоняла на пастбище овец и так далее. Но нигде вы не найдете ни указания, ни намека на убогую нищету, нет никаких поводов думать, будто Жанне приходилось наниматься к чужим людям или вообще работать в то время, как ей хотелось пойти к исповеди или побродить в ожидании видений, послушать колокольный звон и услыхать в нем голоса. Короче говоря, она гораздо больше походила на барышню или даже на образованную девицу, чем многие наши современные мещаночки.

Голоса и видения Жанны

Голоса и видения сыграли с Жанной много шуток и сильно повлияли на ее репутацию. Их считали доказательством того, что она была сумасшедшей, лгуньей и обманщицей, колдуньей (за что и была сожжена) и, наконец, святой. Однако доказывают они вовсе ни то, ни другое и ни третье: разнообразие выводов свидетельствует лишь о том, как мало наши сухие и прозаичные историки понимают в человеческой психологии, даже включая свою собственную. Есть на свете люди, обладающие таким ярким воображением, что, когда им в голову приходит идея, они слышат ее так, словно кто-то высказал ее вслух, а порой и видят говорящего. Психиатрические больницы для преступников преимущественно населены убийцами, которые следовали указаниям голосов. Какая-нибудь женщина слышит голоса, велящие ей перерезать горло спящему мужу и задушить ребенка в кроватке. И она чувствует, что обязана повиноваться. У нас в суде существует некий медико-правовой предрассудок: считается, будто преступники, которым искушения предстают именно в виде таких галлюцинаций, не ответственны за свои поступки и должны рассматриваться как душевнобольные.

Однако те, кого посещают видения, кому бывают откровения, не всегда преступники. Вдохновение и интуиция, а также неосознанные умозаключения гения порой тоже принимают иллюзорные формы. Сократу, Лютеру, Сведенборгу, Блейку бывали видения и слышались голоса точно так же, как и святому Франциску, и святой Иоанне. Обладай Ньютон их пылким театрализованным воображением, ему; вероятно, привиделся бы призрак Пифагора, входящего в сад и объясняющего ему, почему падают яблоки. И подобный обман чувств не поставил бы под сомнение ни закон тяготения, ни нормальность психики Ньютона. Более того, метод открытий с помощью галлюцинаций ничуть не более сверхъестествен, чем обыкновенный метод. Показателем психического здоровья является не нормальность метода, а разумность открытия. Вот если бы Ньютон узнал от Пифагора, что луна сделана из зеленого сыра, тогда Ньютона следовало бы засадить в сумасшедший дом. Поскольку же гипотеза тяготения была вполне обоснована и прекрасно укладывалась в учение Коперника о наблюдаемых физических проявлениях Вселенной, то она создала Ньютону репутацию выдающегося ума, и этому бы не помешала никакая фантастичность пути, которым он пришел бы к своей теории. Между тем закон тяготения далеко не такой впечатляющий подвиг мысли, как его поразительная «Хронология». Именно она сделала его королем фокусников мысли, но только королем в мире безумцев, чьего авторитета никто теперь не признает. В связи с одиннадцатым рогом зверя, виденного пророком Даниилом, Ньютон проявил себя еще большим фантазером, чем Жанна, поскольку воображение его было не театрализованным, а сугубо математическим, тяготевшим к числовой символике. Действительно, если бы все его труды, кроме «Хронологии», оказались утеряны, мы бы сказали, что он был явно не в своем уме. А так, кто посмеет назвать Ньютона сумасшедшим?

Равным образом и Жанну надо расценивать как нормальную, здравомыслящую женщину, невзирая на ее голоса, ибо они ни разу не подали ей совета, который не мог бы быть подсказан ей природным здравым смыслом, — точно так, как идея тяготения была подсказана Ньютону. Все мы теперь уже понимаем, особенно после того как недавняя война затянула стольких женщин в свой водоворот, что в походной жизни, какую вела Жанна, невозможно было оставаться в юбке. И не только потому, что Жанна делала мужское дело, но потому, что из соображений морали следовало исключить секс из отношений между Жанной и ее товарищами по оружию. Она и сама именно так объяснила свой выбор одежды, когда ее потребовали к ответу. И то, что необходимость этой абсолютно разумной меры пришла ей в голову прежде всего в виде веления Господа Бога, переданного через святую Екатерину, вовсе не говорит о ее безумии. Разумность веления лишь доказывает ее необычайное здравомыслие, форма же говорит о том, что ее театрализованное воображение играло шутки с ее органами чувств. Политика ее была тоже вполне здравой: никто не будет оспаривать, что освобождение Орлеана и последующая коронация дофина в Реймсе могут считаться мастерским военным и политическим ходом, который спас Францию, ибо стал сильным контрударом по ходившим тогда слухам о незаконнорожденности Карла и сомнениям в его праве на титул. Такой ход мог родиться в голове Наполеона или любого другого гения, заведомо гарантированного от галлюцинаций. Жанне он пришел в голову в виде веления Наставников (так она называла святых из своих видений). Но каким бы путем ни приходили ей в голову идеи, она все равно была талантливым вождем.

Жажда прогресса

Каков же современный взгляд на голоса и видения Жанны и веления Бога? Девятнадцатый век решил, что это галлюцинации, но поскольку она была девушка миленькая, а обошлись с ней безобразно, поскольку в конце концов ее предала смерти свора средневековых суеверных попов, которых натравливал продажный политикан епископ, то ее следует признать невинной жертвой своих галлюцинаций. Двадцатому веку такое толкование кажется слишком расплывчато-банальным, ему требуется что-то более мистическое. По-моему, двадцатый век прав, и объяснение, сводящееся к тому, что Жанна была умственно недоразвита (тогда как на самом деле она была умственно переразвита), не проходит. Я не могу поверить (а если бы, как Жанна, и поверил, не могу ожидать того же от всех моих читателей), будто бы три доступных зрению, добротно одетых персоны по имени святая Екатерина, святая Маргарита и святой Михаил спустились с небес и по поручению Господа Бога дали Жанне некие указания. Не то чтобы такое верование более неправдоподобно или фантастично, чем иные новейшие верования, с которыми мы все легко миримся, но только на веру существуют моды и семейные традиций, а коль скоро мода, которой я следую, викторианская, а семейная традиция — протестантская, я никоим образом не могу всерьез относиться к тем формам, которые приняли видения Жанны.

Но все же действуют некие силы, которые направляют нас к целям более высоким, чем просто сохранение здоровья, преуспеяния, респектабельности, покоя и благополучия, присущих среднему жизненному положению и составляющих благоразумный идеал добропорядочного буржуа; доказательством действия таких сил может служить то, что люди в своем стремлении к познанию и социальным преобразованиям (в результате которых лучше им ни на йоту не станет и, наоборот, часто бывает во сто крат хуже) готовы терпеть нищету, позор, изгнание, заточение, неслыханные лишения и смерть. Даже эгоистическое стремление к личной власти не может подвигнуть людей на усилия и жертвы, на какие охотно идут иные ради того, чтобы увеличить людскую власть над Природой, хотя это, быть может, никак не затронет жизни самого искателя знания. Эта жажда знания и власти ничуть не более загадочна, чем потребность в пище: и то, и другое лишь реально существенный факт, не более. Разница только в том, что пища — жизненная необходимость, и потому потребность в ней носит личный характер, тогда как жажда знания означает жажду прогресса и поэтому носит внеличный характер.

Разнообразные способы, какими наше воображение театрализует соприкосновение с внеличными силами, — это проблема для психолога, а не для историка. Однако и историк должен понимать, что духовидцы вовсе не обманщики и не сумасшедшие. Одно дело сказать, что фигура, в которой Жанна признала святую Екатерину, в действительности не святая Екатерина, а образец того, как воображение Жанны театрализовало влияние на нее движущей силы, обусловливающей прогресс, которую я только что назвал жаждой прогресса. Но совсем другое дело — отнести ее видения к тому же типу, что и две луны, пляшущие перед пьяным на небе, или брокенские привидения, эхо и тому подобные явления; нет, советы святой Екатерины были слишком для этого убедительны, и самый простодушный французский крестьянин, верящий в то, что небесные посланцы являются избранным смертным, кажется ближе к научной истине относительно Жанны, чем историки и эссеисты рационалистического и материалистического толка, которые считают своим долгом объявить сумасшедшей или обманщицей девицу, которая видит и слышит святых. Если Жанна была безумна, то безумен и весь христианский мир, ибо люди, свято верующие в реальность Божественных персонажей, ничуть не менее безумны, чем те, кто воображает, будто видит их. Лютер, запустивший чернильницей в дьявола, был нисколько не безумнее любого другого монаха-августинца, — просто воображение у него было поярче, да еще, может быть, он ел и спал поменьше, вот и все.

Видят святых — и пусть

Все массовые религии мира постигаются через целый сонм легендарных личностей с Отцом небесным, а иногда Богоматерью и Божественным младенцем в качестве центральных фигур. Так они предстают нашему мысленному взору с раннего детства, и в результате создается устойчивая галлюцинация, которая, если запечатлелась она основательно, сохраняется на всю жизнь. Таким образом, всевозможные раздумья галлюцинирующего о неиссякаемом источнике вдохновения, стимулирующем жизнь Вселенной, или о голосе добродетели и муках стыда, короче говоря, о призвании и совести — силах значительно более реальных, чем электромагнетизм, — все эти раздумья совершаются на языке Божественных видений. А когда к тому же это происходит с натурами, наделенными особенно богатым воображением, тем паче с теми, кто соблюдает принципы аскетизма, то галлюцинации, помимо умственного взора, захватывают и телесный, и человек видит Кришну или Будду, или деву Богородицу, или святую Екатерину — каждый свое.

Современное образование, которого избегла Жанна

Все это важно понимать в наши дни каждому, так как современная наука расправляется с галлюцинациями, игнорируя значение всего того, что они символизируют. Родись Жанна заново сегодня, ее прежде всего послали бы в монастырскую школу, где ее мягко обучали бы сочетать вдохновение и совесть со святой Екатериной и святым Михаилом в точности так же, как ее учили в XV веке, а потом завершили бы дело весьма энергичным натаскиванием в духе Евангелия от святых Луи Пастера и Поля Берта, которые повелели бы ей (возможно, в форме видений, но, скорее, в форме памфлетов) не быть суеверной дурочкой и выкинуть из головы святую Екатерину и прочих изживших себя персонажей католических мифов.

Ей вдолбили бы, что Галилей был мученик, а его гонители — неисправимые невежды и что гормоны святой Терезы[3] сбились с пути и оставили ее с неизлечимым то ли гипертрофированным гипофизом, то ли атрофированной надпочечной железой, то ли истеричной, то ли эпилептичной или еще какой угодно, но только не патетичной. Ее убеждали бы путем личного примера и эксперимента, что крещение и причащение тела Господня — недостойные суеверия, а вакцинация и вивисекция — просвещенные обычаи. За ее новыми святыми — Луи и Полем стояла бы не только наука, очищающая религию и ею очищаемая, но и ипохондрия, трусость, глупость, жестокость, грязное любопытство, знание без мудрости и все то, чего не приемлет вечная душа Природы, а совсем не воинство добродетелей, в авангарде которых шла святая Екатерина. Что же касается новых обрядов, то которая Жанна была бы более нормальной? Та, которая относила крестить младенцев водой и духом, или та, которая насылала полицию на родителей, чтобы те дали ввести своим детям в кровь гнуснейший расистский яд, отравляющий их душу? Та, которая рассказывала детям историю об Ангеле и Марии, или та, которая допытывалась, как обстоит у них дело с эдиповым комплексом? Та, для кого освященная облатка была воплощением добродетели, в которой она видела свое спасение, или та, которая уповала на точную и удобную регуляцию своего здоровья и желаний с помощью тонко рассчитанной диеты, состоящей из экстракта щитовидной железы, адреналина, тимина, питуитрина, инсулина плюс стимулирующие гормональные средства, причем кровь ее сперва тщательно насыщали антителами, защищавшими от всевозможной заразы (благодаря введению заразных микробов и сывороток, извлеченных из больных животных) и от старости (благодаря хирургическому удалению воспроизводительных органов или благодаря еженедельному введению вытяжки из железы обезьяны)?

Спору нет, за всеми этими знахарскими трюками стоит некая совокупность данных подлинно научной физиологии. Но разве не стояло за святой Екатериной и Святым Духом некоей совокупности познаний в подлинной психологии? И какой ум более здравый — ориентированный на святых или на железу обезьяны?

И разве не означает нынешний клич «Назад к средневековью!», который назревал с начала движения прерафаэлитов, что сейчас невыносима не наша академическая живопись, а наше легковерие, которое нельзя оправдать суеверием, наша жестокость, которую нельзя оправдать варварством, наши гонения, которые нельзя оправдать религиозностью, бесстыдная подмена святых преуспевающими жуликами, негодяями и шарлатанами в качестве объектов поклонения и наша глухота и слепота по отношению к зовам и видениям непреклонной силы, которая нас сотворила и нас уничтожит, если мы будем игнорировать ее? Жанне и ее современникам мы показались бы стадом гадаранских свиней, одержимых всеми бесами, изгнанными верой и цивилизацией средневековья, и неистово мчащихся вниз по крутому спуску — в ад усовершенствованных взрывчатых веществ. Выдавать состояние нашей психики за образец нормальности, а Жанну объявить помешанной потому, что она до такого состояния не опускалась, — значит доказать, что мы существа пропащие, и притом безнадежно пропащие. Так перестанем же раз и навсегда повторять галиматью насчет того, что Жанна была тронутая, и признаем ее, по крайней мере, столь же нормальной, как и Флоренс Найтингел; у той тоже простейшие религиозные представления сочетались с умом такой исключительной мощи, что она вечно находилась в конфликте с медицинскими и военными заправилами своего времени.

Промахи голосов

О том, что голоса и видения были лишь обманом чувств, а вся мудрость принадлежала самой Жанне, свидетельствуют случаи, когда голоса подводили ее; особенно подвели они Жанну во время процесса, обещая ей освобождение. Но хотя она приняла желаемое за возможное, надежды ее были не так уж беспочвенны: ее соратник Ла Гир с немалым войском стоял неподалеку, и если бы арманьяки (так назывались ее сторонники) в самом деле хотели бы ее спасти и вложили в эту акцию хотя бы долю свойственной ей энергии, у них был бы изрядный шанс на успех. Жанна не понимала, что им хочется от нее избавиться, не понимала, что освобождение узника из рук Церкви — задача крайне сложная для средневекового военачальника или даже для короля, и задача эта отнюдь не сводилась к преодолению физических трудностей, необходимому для воинского подвига. Если встать на точку зрения Жанны, то ее убежденность в том, что ее спасут, была вполне обоснованной, потому она и услыхала голос госпожи святой Екатерины, обещавшей ей этот исход, — таков уж был ее способ выяснять собственное мнение и принимать решение. Когда же стало ясно, что она просчиталась, когда ее повели на костер и Ла Гир даже и не подумал бушевать у ворот Руана или нападать на солдат Уорика, тогда она сразу отринула святую Екатерину и отреклась. Решение ее было как нельзя более здравым и практичным. И только обнаружив, что, кроме строгого пожизненного заключения, она ничего отречением не выиграла, Жанна взяла его назад и вместо этого сознательно и обдуманно выбрала костер. Решение это обнаруживает не только поразительную твердость характера, но и трезвость мысли, которая не останавливается перед самоубийством как конечной проверкой человека. Однако и тут обман чувств сыграл свою роль: она объяснила свой возврат к прежней позиции велением голосов.

Жанна — духовидица по Гальтону

Вот почему даже наиболее скептический и научно мыслящий читатель может смело принять как некий факт, из которого нельзя сделать вывод о психической болезни, что Жанна принадлежала к тем, кого Фрэнсис Гальтон и другие современные исследователи человеческих возможностей называют духовидцами. Она видела святых умственным взором точно так же, как некоторые видят умственным взором перенумерованные схемы и картины, с помощью которых они способны творить чудеса запоминания и вычисления, немыслимые для недуховидцев. Духовидцам мои объяснения будут сразу понятны. А недуховидцы, никогда не читавшие Гальтона, будут озадачены и отнесутся к моим словам с недоверием. Но если они порасспросят знакомых, то выяснится, что умственный взор — это как бы некий волшебный фонарь и что на свете полно людей во всех отношениях нормальных, наделенных, однако, способностью ко всякого рода галлюцинациям, которую сами они считают одним из нормальных свойств человеческих.

Мужская натура и воинственность Жанны

Другая отличительная особенность Жанны, настолько обычная среди необычных явлений, что ее даже не назовешь аномалией, — ее тяга к солдатской и вообще мужской жизни. Отец запугивал дочь, пытаясь отучить ее от этой блажи, угрожал утопить, если она убежит с солдатами, и велел сыновьям утопить сестру, если его самого не окажется на месте. Эти преувеличенные угрозы явно произносились не всерьез, просто дети принимают всерьез такие вещи. Стало быть, девочкой Жанна хотела убежать и стать солдатом. Страшная перспектива быть утопленной в Маасе грозным отцом и старшими братьями удерживала ее до тех пор, пока отец не перестал внушать страх, а братья не подчинились ее прирожденной властности. К этому времени она поумнела и поняла, что удрать из дому еще не значит вести мужскую и солдатскую жизнь. Однако вкус к ней не пропадал у Жанны никогда и определил ее путь.

Если кто-нибудь в этом сомневается, пусть задастся вопросом: почему бы девице, на которую небо возложило особое поручение к дофину (так виделся Жанне ее талантливый план вызволить некоронованного короля из отчаянного положения), почему бы ей было не отправиться ко двору в женском наряде и не навязать дофину свой совет на женский манер, как поступали другие женщины, имевшие такие же поручения, одна — к его безумному отцу, другая — к его мудрому деду? Почему она все-таки настояла на том, чтобы ее снабдили солдатской одеждой, оружием, мечом, лошадью и прочим снаряжением? Почему она обращалась с солдатами своего отряда, как с товарищами, спала бок о бок с ними прямо на земле, как будто была одного с ними пола? Можно ответить, что в таком виде было безопаснее путешествовать по стране, наводненной вражескими войсками и шайками мародеров и дезертиров с обеих сторон. Такой ответ будет неубедителен, потому что сколько угодно женщин передвигалось в те времена по Франции, и им не мнилось путешествовать иначе как в женском обличье. Но даже если мы примем этот ответ, то как объяснить следующее. Когда опасности миновали и Жанна уже могла предстать перед королем в женском убранстве без всякого ущерба для себя (что было бы гораздо приличнее случаю), она явилась ко двору все в той же солдатской одежде, и вместо того чтобы уговорить Карла послать Д’Алансона, де Рэ, Ла Гира и прочих в Орлеан на подмогу Дюнуа, как королева Виктория уговорила военное министерство послать Робертса в Трансваль, Жанна стала настаивать на том, чтобы самой отправиться туда и самолично возглавить штурм? Почему она щеголяла своей ловкостью и умением владеть копьем и ездить верхом? Почему она принимала подарки в виде доспехов, боевых коней, рубах, надеваемых поверх кольчуги, и вообще каждым поступком отрекалась от своей женской сущности? На все эти вопросы ответ следует простой: она была из тех женщин, которые любят вести мужской образ жизни. Их можно найти всюду, где только есть пехота и флот, они отбывают солдатскую службу, переодетые мужчинами, и на удивление долго, иногда до конца жизни, избегают разоблачения. Когда обстоятельства позволяют им пренебрегать общественным мнением, они совершенно перестают таиться. И тогда Роза Бонер пишет свои картины в мужской блузе и брюках, а Жорж Санд[4] ведет жизнь мужчины и чуть ли не заставляет Шопена и де Мюссе для ее удовольствия вести себя, как женщины. Не будь Жанна одной из таких «неженственных женщин», ее, вероятно, канонизировали бы значительно раньше.

Но для того чтобы вести мужскую жизнь, вовсе не обязательно носить брюки и курить толстые сигары, равно как необязательно носить нижние юбки, чтобы жить женской жизнью. В обычной гражданской обстановке найдется сколько угодно женщин в платьях и корсажах, которые прекрасно управляются со своими женскими и чужими делами, включая дела своих мужчин, и при этом вполне мужеподобны в своих вкусах и занятиях. Такие женщины бывали всегда, даже в викторианскую эпоху, когда у них было меньше юридических прав, чем у мужчин, и когда о женщинах-судьях, мэрах и членах парламента еще слыхом не слыхивали. В отсталой России в нашем столетии женщина-солдат организовала боеспособный полк амазонок, и он прекратил свое существование потому только, что его олдершотский дух поссорил его с революцией. Освобождение женщин от военной службы основано не на какой-то их природной непригодности, которой не страдают мужчины, а на том, что общества не могут воспроизводить себя без избытка женщин. Тогда как без мужчин обойтись легче, и, соответственно, их можно приносить в жертву.

Была ли у Жанны мания самоубийства?

Только две вышеописанные аномалии всецело доминировали в характере Жанны, и они-то и привели ее на костер. Ни та ни другая не была присуща исключительно ей одной. В Жанне вообще не было ничего исключительного, кроме силы и широты ума и характера и интенсивности жизненной энергии. Ее обвиняли в тяге к самоубийству, и действительно, когда, пытаясь бежать из замка Боревуар, она спрыгнула с башни высотой, как говорят, в шестьдесят футов, она безрассудно рисковала. Но Жанна оправилась от падения за несколько дней поста. Она обдуманно выбрала смерть вместо жизни без свободы. В бою она бросала вызов смерти так же, как Веллингтон при Ватерлоо и как Нельсон, имевший привычку во время боя прогуливаться на шканцах во всем блеске своих регалий. Но коль скоро ни Нельсона, ни Веллингтона и никого из тех, кто совершал отчаянные подвиги и предпочитал смерть плену, не обвиняют в мании самоубийства, то нечего подозревать в этом и Жанну. В случае, произошедшем в Боревуаре, на карту ставилось больше, чем свобода Жанны. Ее встревожило известие, что Компьен вот-вот сдастся, и она была убеждена, что спасет его, если ей удастся бежать. Однако прыжок с башни был столь рискованным, что совесть ее была после этого неспокойна, и, по своему обыкновению, Жанна выразила это, сказав, что святая Екатерина запретила ей прыгать, но потом простила непослушание.

Оценивая Жанну в целом

Итак, мы можем отнестись к Жанне как к здравомыслящей и сообразительной крестьянской девушке, наделенной необыкновенной силой духа и физической выносливостью. Все, что она делала, было тщательно взвешено. И хотя мыслительный процесс совершался так быстро, что сама она не успевала его осознать и поэтому приписывала все голосам, можно считать, что она руководствовалась разумом, а не слепо следовала своим импульсам. В военном деле она была реалистом в той же мере, что и Наполеон, она тоже понимала толк в артиллерии и отдавала должное ее возможностям. Она не ожидала, что осажденные города падут, как Иерихон при звуках трубы, а, подобно Веллингтону, организовывала наступление, учитывая оборонительную тактику врага; она предвосхитила наполеоновский расчет на то, что если непрерывно атаковать противника, тот долго не выдержит. Например, последняя ее победа под Орлеаном была одержана уже после целого дня боя, когда ни одна сторона не победила и ее полководец Дюнуа дал сигнал к отступлению. Жанна никогда не была той, за кого ее выдавали бесчисленные романисты и драматурги, а именно: романтической барышней. Она была истинной дочерью земли — с крестьянской трезвостью и упрямством, со свободным от всякого преклонения или высокомерия отношением к большим господам, королям и прелатам, — она с одного взгляда понимала, чего каждый из них действительно стоит. Как подобает добропорядочной крестьянке, она сознавала все значение соблюдения приличий и не терпела, когда сквернословили и пренебрегали религиозными обрядами. Она не позволяла дурным женщинам околачиваться вокруг ее лагеря. У нее было одно благочестивое восклицание: «En nom De!»[5] и одно бессмысленное ругательство: «Par mon martin!»[6], и только их она разрешала употреблять неисправимому богохульнику Ла Гиру. Эта пуританская строгость сыграла важнейшую роль в восстановлении чувства собственного достоинства у деморализованной армии, и стало быть, и в этом, как почти во всем остальном, ее политика оказалась хорошо рассчитана и вполне оправдала себя. Жанне приходилось иметь дело с людьми всех сословий — от работников до королей; при этом она не испытывала никакого смущения, вела себя совершенно естественно и, если они не были безнадежно трусливы и испорчены, добивалась от них, чего хотела. Она умела улещивать и умела принуждать, язычок ее бывал ласковым и бывал острым. Словом, талантливая девушка — прирожденный босс.

Инфантильность и невежественность Жанны

Все это, однако, надо принять с одной большой оговоркой: ей не было и двадцати. Если бы речь шла о властной матроне лет пятидесяти, мы бы сразу узнали этот человеческий тип, вокруг нас полно властных немолодых женщин, по которым легко судить, какой бы стала Жанна, останься она в живых. Но, в конце концов, она была всего лишь молоденькая девушка: она не имела представления о тщеславии мужчин и о весомости и соотношении общественных сил. Она ничего не слыхала о железной руке в бархатной перчатке и орудовала голым кулаком. Она думала, что политические перемены осуществлять легко, и, подобно Магомету, не ведавшему ни о каком строе, кроме родового, рассылала письма королям, призывая их к преобразованиям, ведущим к установлению царства Божия на земле. Не мудрено, что ей удавались только те простые начинания, которые, как, например, коронация и кампания под Орлеаном, требовали простого действия и натиска.

Отсутствие элементарного образования помешало ей, когда она столкнулась с такими искусно разработанными структурами, как грандиозные церковные и общественные институты средневековья. Она испытывала ужас перед еретиками, не подозревая, что сама — ересиарх, одна из предтеч ереси, расколовшей Европу надвое и повлекшей за собой столетия кровопролитий, не прекратившихся и по сю пору. Она была против чужеземцев на том разумном основании, что во Франции им не место. Но ей в голову не приходило, что это приведет ее к столкновению с католицизмом и феодализмом — установлениями, по своей сути интернациональными. Она руководствовалась здравым смыслом, и там, где образованность была единственным ключом, она блуждала во мраке, расшибала себе лоб и расшибала тем более крепко, что отличалась непомерной самоуверенностью и поэтому в делах гражданских была неосторожна, как никто.

Это сочетание юной неопытности и абсолютной необразованности с большими природными способностями, энергией, храбростью, глубокой религиозностью, оригинальностью и чудаковатостью полностью объясняет все перипетии истории Жанны и делает ее достоверным историческим и человеческим феноменом. Но оно резко противоречит как идолопоклонническому романтическому ореолу, созданному вокруг нее, так и развенчивающему скептическому отношению, возникшему как реакция на романтическую легенду.

Дева в литературе

Английским читателям, может быть, захочется узнать, как отразилось поклонение и протест против него на книгах про Жанну, столь хорошо им знакомых. Имеется первая часть шекспировской или псевдошекспировской трилогии о Генрихе VI, где Жанна — одно из главных действующих лиц. Этот портрет Жанны достоверен не более, чем описание на страницах лондонских газет Джорджа Вашингтона в 1780 году, описание Наполеона в 1803-м, германского кронпринца в 1915-м или Ленина в 1917-м. А заканчивается пьеса и вовсе непристойностью. Впечатление такое, будто драматург вначале пытался изобразить Жанну красивой и романтической, но возмущенная труппа вдруг объявила, что английский патриотизм ни за что не потерпит сочувственного изображения француженки, одержавшей победу над английскими войсками, и если драматург сию же минуту не вставит все прежние обвинения против Жанны, не напишет, что она колдунья и шлюха, и не подтвердит ее виновность, пьеса поставлена не будет. Скорее всего, так именно и произошло. Иначе почему столь сочувственное изображение героизма Жанны и особенно ее красноречивого обращения к герцогу Бургундскому сменяется мерзейшими непристойностями заключительных сцен. Этому можно найти только еще одно объяснение: может быть, в оригинале пьеса была целиком непристойна, Шекспир же подправил начальные сцены. Поскольку вещь принадлежит к тому периоду, когда он только начинал свою деятельность, латая чужие пьесы, и его собственный стиль не выковался и не окреп, проверить нашу догадку нет возможности. Его почерк еще отчетливо не ощущается, нравственный тон пьесы низкий и вульгарный. Но, может статься, он пытался спасти ее от прямого позора, озарив Деву мгновенным блеском.

Перепрыгнув через два столетия, мы найдем у Шиллера «Орлеанскую деву», утопающую в ведьмином котле клокочущей романтики. Шиллеровская Иоанна не имеет абсолютно ничего общего с Жанной реальной, да и вообще ни с одной смертной, когда-либо ступавшей по земле. О пьесе, в сущности, нечего сказать, кроме того, что она написана вовсе не о Жанне, да едва ли и претендует на это. У Шиллера она умирает на поле битвы, ибо сжечь ее у него не хватило духу. До Шиллера уже был Вольтер[7], он пародировал Гомера в сатирической поэме «La Pucelle»[8]. От нее принято отворачиваться с добродетельным негодованием, рассматривая ее как грязную клевету. Я, разумеется, не возьмусь защищать ее от обвинения в чудовищной неблагопристойности. Задача поэмы была не в том, чтобы изобразить Жанну, а чтобы сразить насмешкой все, что в установлениях и обычаях того времени было справедливо ненавистно Вольтеру. Жанну он сделал смешной, но не ничтожной, и сравнительно не такой уж нецеломудренной. Поскольку же Гомера, святого Петра, святого Дени и храброго Дюнуа он тоже сделал смешными, а других героинь поэмы весьма нецеломудренными, то Жанна, можно сказать, еще легко отделалась. Но, право, похождения персонажей поэмы настолько возмутительны и настолько по-гомеровски лишены даже и намека на историческую достоверность, что те, кто делают вид, будто принимают их всерьез, выглядят Пекснифами[9].

Сэмюэл Батлер считал «Илиаду» пародией на греческий ура-патриотизм и греческую религию, написанной пленником или рабом, «Девственница» почти подтверждает батлеровскую теорию. Вольтер вводит Агнес Сорель — любовницу дофина, которую историческая Жанна никогда не встречала. Женщина эта страстно мечтает стать чистейшей и вернейшей из наложниц, но удел ее — беспрерывно попадать в руки распутных недругов и подвергаться грубейшему насилию. Над сценами, где Жанна летит верхом на осле или, застигнутая врасплох в натуральном виде, защищает Агнес мечом и наносит соответствующие увечья обидчикам, — над этими сценами можно смеяться без зазрения совести, они для этого и созданы. Ни один человек в здравом уме не примет их за историческую быль, и их непочтительная скабрезность, быть может, нравственнее увлекательной сентиментальности Шиллера. Разумеется, не стоило Вольтеру делать отца Жанны священником, но уж коли он принимался «давить гадину» (сиречь французскую церковь), то не останавливался ни перед чем.

До поры до времени литературные версии истории Девы носили характер легенд. Но вот Кишера опубликовал в 1841 году доклады о судебном процессе и реабилитации Жанны и поставил все на другие рельсы. Эти подлинные документы пробудили живой интерес к Жанне, чего не смогли сделать ни вольтеровская пародия на Гомера, ни шиллеровская романтическая чепуха. Типичными плодами такого интереса в Америке и Англии явились жизнеописания Жанны, написанные Марком Твеном и Эндру Лангом. Марк Твен буквально поклонялся Жанне, и поклонение это началось непосредственно под влиянием Кишера. Позднее еще один гений — Анатоль Франс[10] — в виде протеста против волны энтузиазма, поднятой Кишера, написал «Жизнь Жанны д’Арк», где идеи Жанны он приписывает подсказке духовенства, а военные успехи — ловкости Дюнуа, использовавшего Жанну как mascotte[11]. Короче говоря, он отказывает Жанне в сколько-нибудь серьезных военных или политических способностях. Эндру рассвирепел и, жаждая крови Анатоля, выпустил свою «Жизнь Жанны», которую следует понимать как корректив к первой. Ланг без труда доказал, что талант Жанны не какая-то противоестественная фикция, объясняемая галлюцинацией, придуманной священниками и солдатами, а простой факт.

Есть еще и такое легкомысленное толкование: дескать, Анатоль Франс — парижанин из мира искусства, и в его системе взглядов попросту нет места одаренной женщине с твердым умом и твердой рукой, даже если она и заправляет провинциальной Францией и деловым Парижем. Между тем как Ланг шотландец, а каждому шотландцу известно, что в доме верховодит жена. Меня, однако, такое толкование не убеждает. Я не могу поверить, чтобы Анатоль Франс не знал того, что известно всем. Недурно было бы всем знать столько, сколько знал он. В его книге чувствуются разного рода антипатии, но не антижанновские, а антиклерикальные и антимистические, и вообще уж так он был устроен, что не мог поверить в существование реальной Жанны.

Марк-твеновская Жанна, в юбке до полу, скрывающей столько же нижних юбок, сколько их на жене Ноя в игрушечном ковчеге, была попыткой соединить Баярда с Эстер Самерсон из «Холодного дома» с тем, чтобы получить безупречную американскую школьную учительницу, облаченную в доспехи. Ее создатель, как и создатель Эстер Самерсон, попадает в довольно-таки смешное положение, но поскольку он гений, она, несмотря на всю его ослепленность, все-таки сохраняет правдоподобие, только уже как тип ханжи. Ошибочно скорее описание Жанны, а не общая оценка. Эндру Ланг и Марк Твен одинаково задались целью сделать из нее красивую и очень женственную викторианку, оба признают и подчеркивают ее умение руководить, но только ученый шотландец настроен не так романтически, как лоцман с Миссисипи. Но, в конце концов, Ланг по укоренившейся профессиональной привычке скорее критикует, нежели пишет биографии, а Марк Твен откровенно написал биографию в форме романа.

Протестантам не понять средневековья

Впрочем, был у них один общий недостаток. Для того чтобы понять историю Жанны, недостаточно понимать характер Жанны, нужно уметь разбираться в обстоятельствах эпохи. В условиях XIX–XX веков Жанна как личность была бы совершенно неуместна; так же неуместна, как если бы она появилась на Пикадилли сегодня в своих доспехах XV века. Чтобы увидеть ее в настоящем свете, нужно понимать христианство и католическую церковь, Священную Римскую империю и феодализм в том виде, в каком они существовали и понимались в средние века. Если вы путаете средние века с темными веками, если вы привыкли высмеивать вашу тетушку за то, что она носит «средневековые платья» (подразумевая платья, которые были в моде в 90-е годы прошлого века), и абсолютно убеждены в том, что со времен Жанны мир невероятно шагнул вперед как в моральном, так и в техническом плане, то вам никогда не осознать, почему сожгли Жанну, и тем более не вообразить, что и вы, возможно, голосовали бы за ее сожжение, если бы входили в число ее судей. А пока вы не сможете этого вообразить, вы не узнаете самого важного о Жанне.

Вполне естественно, что на этом у лоцмана с Миссисипи и вышла осечка. Марк Твен, «простак за границей», при виде восхитительных средневековых церквей не испытавший ни малейшего волнения, автор «Янки при дворе короля Артура», где герои и героини средневекового рыцарства — чудаки, увиденные глазами уличного мальчишки, был с самого начала обречен на провал. Эндру. Ланг был более начитан, но, так же как для Вальтера Скотта, средневековье для него было скорее цепью увлекательных романов об англо-шотландской границе, чем высокой европейской цивилизацией, покоящейся на католической религии. Протестантская закваска обоих писателей, все их воспитание и образование внушили им, что католические епископы, сжигавшие еретиков, были способны на любую подлость; что все еретики были либо альбигойцами, либо гуситами, либо иудеями, либо протестантами с самой безупречной репутацией и что инквизиция была сплошной камерой пыток, изобретенной специально для таких людей в виде подготовки к сожжению, — и только. Соответственно они изображают Пьера Кошона, епископа Бовэского, судью, пославшего Жанну на костер, отъявленным мерзавцем, а все вопросы, заданные им Жанне, «ловушками», нарочно придуманными для того, чтобы поймать и погубить ее. Они не сомневаются в том, что полсотни каноников и докторов права и богословия, которые сидели рядом с Кошоном в качестве советников-асессоров, были вылитые его копии, разве что сидели на креслах пониже и в других головных уборах.

Судьи Жанны были сравнительно беспристрастны

На самом же деле англичане угрожали Кошону и поносили его за слишком большую заботливость по отношению к Жанне. Недавно один французский писатель отрицал, что Жанну сожгли, он считает, что Кошон похитил ее и вместо нее сжег кого-то или что-то, а самозванка, впоследствии выдававшая себя в Орлеане и еще где-то за Жанну, вовсе не самозванка, а доподлинная Жанна. Отстаивая свою точку зрения, он даже ухитряется отыскать доказательства пристрастного отношения Кошона к Жанне. Что же касается асессоров, то они вызывают возражение не потому, что они мерзавцы и все на одно лицо, а потому, что они были политическими сторонниками врагов Жанны. Это — веское возражение против всех судов такого рода. Но коль скоро нейтральных трибуналов взять негде, тут уж ничего не поделаешь. Судебное разбирательство, проводимое французскими сторонниками Жанны, было бы таким же неправым, что и суд, который вершили ее французские противники, а смешанный трибунал, который бы состоял поровну из тех и других, зашел бы в тупик. К недавним процессам Эдит Кэвелл, которую судил немецкий трибунал, и Роджера Кейсмента (его судил английский) можно предъявить ту же претензию, тем не менее их приговорили к смерти, так как нейтральных трибуналов не нашлось. Эдит, как и Жанна, была заклятой еретичкой, — в разгар войны она объявила всему свету: «Патриотизм — это еще не все». Она выхаживала раненых врагов и устраивала побеги военнопленным, давая ясно понять, что будет помогать любому беглецу или страдальцу, не спрашивая, на чьей он стороне, на том лишь основании, что все равны перед Богом — Томми, Джерри и Питу Le poilu[12]. Дорого бы дала Эдит, чтобы вернуть средние века и чтобы пятьдесят гражданских лиц, сведущих в законах или присягнувших на служение Богу, поддерживали двух опытных судей, которые бы расследовали ее дело согласно католическому христианскому закону и путем словопрений давая ей высказаться, выясняли ее позицию неделю за неделей, на бесконечных заседаниях. Современная военная инквизиция была не столь щепетильна. Она покончила с Эдит в один миг, а ее соотечественники, усмотрев тут удобный случай попрекнуть противника за нетерпимость, поставили ей памятник, но остереглись написать на пьедестале «Патриотизм — это еще не все». За эту подтасовку и за скрытую в ней ложь им еще понадобится заступничество Эдит, когда они, в свою очередь, предстанут перед другим судом, если только небесные власти сочтут, что такие моральные трусы достойны обвинительного заключения.

Проблема не нуждается в дальнейшем обсуждении. Жанну подвергали гонениям, в общем таким же, каким подвергли бы сейчас. Переход от сожжения к повешению или расстрелу можно, конечно, счесть переменой к лучшему. Переход от тщательного расследования согласно принятому закону к безответственному и упрощенному военному терроризму можно счесть переменой к худшему. Но если говорить о терпимости, то суд и казнь в Руане 1431 года вполне могли бы стать событием наших дней. Так что это и на нашей совести. Если бы Жанна попала в наши руки, в сегодняшний Лондон, мы проявили бы по отношению к ней не больше терпимости, чем к мисс Сильвии Пэнкхерст, или к членам секты «странные люди», или к родителям, не пускающим детей в начальную школу, или к любым другим лицам, которые преступают черту, правильно или неправильно проведенную между тем, что терпеть можно и что — нельзя.

Жанну судили не как политическую преступницу

Кроме того, процесс Жанны, в отличие от дела Кейсмента, не был национальным политическим процессом. Суды церковные и инквизиционные (в случае с Жанной это была комбинация обоих видов) были судами христианскими, иначе говоря, интернациональными, и судили ее не как предательницу, а как еретичку, богохульницу, колдунью и идолопоклонницу. Ее так называемые преступления считались не политическими, совершенными против Англии или бургундской фракции во Франции, а против Бога и норм христианской морали. И хотя идея национализма в современном его понимании была настолько чужда средневековой концепции христианского общества, что ее вполне могли вменить в вину Жанне как еще один вид ереси, этого, однако, не сделали, и опрометчиво было бы предполагать, чтобы политическая пристрастность собрания асессоров-французов обратилась бы решительно в пользу чужаков (даже если бы те вели себя во Франции с крайней предупредительностью, а не наоборот) и против француженки, победившей этих чужаков.

Трагическая сторона процесса заключалась в том, что Жанна, как и большинство подсудимых, которым предъявлены обвинения более серьезные, чем простое нарушение десяти заповедей, не понимала, за что ее судят. Она имела гораздо больше общего с Марком Твеном, нежели с Пьером Кошеном. Ее преданность Церкви очень отличалась от преданности епископа и, с его точки зрения, по сути говоря, не выдерживала пристальной критики. Жанна находила радость в утешениях, которые предлагает Церковь натурам чувствительным; исповедь и причастие были для нее наслаждением, по сравнению с которым вульгарные чувственные радости не стоили ничего. Молитва для нее была чудесной беседой с тремя любимыми святыми. Ее набожность казалась чрезмерной людям формально благочестивым, для которых религия — всего лишь обязанность. Но когда Церковь не доставляла ей любимых наслаждений, да еще требовала принять ее, Церкви, истолкование воли Господней и поступиться своим, Жанна отказывалась наотрез и давала понять, что, по ее представлениям, католической является та церковь, во главе которой стоит папа Иоанна. Могла ли Церковь это терпеть, когда только она уничтожала Гуса и наблюдала за деятельностью Уиклифа с возрастающим негодованием, которое привело бы и его на костер, не умри он естественной смертью до того, как гнев обрушился на него — уже посмертно? А между тем ни Гус, ни Уиклиф не были так дерзко непокорны, как Жанна: оба были церковными реформаторами вроде Лютера, тогда как Жанна всегда, подобно миссис Эдди, готова была подменить собою святого Петра, эту скалу, на которой зиждется Церковь, и, подобно Магомету, всегда располагала личным откровением, полученным от Бога на каждый случай жизни и пригодным для разрешения любого вопроса.

Чудовищность претензий Жанны явствует из того, что сама она ее не сознавала. Мы называем это непонимание наивностью, ее друзья называли простоватостью. Ее решение встававших перед нею проблем всегда казалось и чаще всего действительно было чрезвычайно здравым и трезвым, и когда оно приходило к ней в форме откровения, для нее это было чем-то само собой разумеющимся. Как могли здравый смысл и нечто само собой разумеющееся казаться ей столь ужасной штукой — ересью? Когда в поле ее зрения попадали конкурентки-пророчицы, она немедленно ополчалась на них, как на лгуний и обманщиц, но считать их еретичками ей и в голову не приходило. Она находилась в состоянии непрошибаемого неведения относительно мнения Церкви на ее счет, и Церковь не могла выносить дольше ее претензий, — либо надо было сложить свои полномочия, либо дать Жанне место рядом с Троицей при жизни, еще в отроческом возрасте, что было немыслимо. Таким-то образом неудержимая сила встретила на своем пути непоколебимое препятствие и раздула сильнейший жар, который и испепелил бедную Жанну.

Марк и Эндру разделили бы с ней и неведение, и ее участь, если бы за них взялась инквизиция, потому-то их описания суда так же нелепы, как были бы нелепы ее собственные, умей она писать. Об их предположении, что Кошон — заурядный злодей, а вопросы, задаваемые Жанне, — ловушки, можно сказать лишь: да, оно поддержано расследованием, реабилитировавшим ее двадцать пять лет спустя. Однако реабилитация эта так же лжива, как и противоположная процедура, проделанная с Кромвелем реакционными сторонниками Реставрации. Кошона выкопали, и тело его выбросили в сточную канаву. Ничего не было проще, чем обвинить его в подлоге, а весь судебный процесс объявить на этом основании бессмыслицей. Именно этого желали все, начиная от Карла Победоносного[13], чьи заслуги неразрывно связаны с заслугами Девы, и кончая патриотически и националистически настроенным простонародьем, боготворившим память Жанны. Англичан прогнали, и приговор в их пользу стал бы поруганием трона и патриотизма, который привела в действие Жанна.

Мы отнюдь не захвачены непреодолимым стремлением ни к политическим выгодам, ни к популярности, и поэтому у нас нет оснований для предубежденности. Для нас первый суд сохраняет законную силу, а реабилитацией можно было бы и пренебречь, если бы не огромное количество серьезных показаний, свидетельствующих об обаянии личности Жанны. Но тогда возникает вопрос: каким же образом Церковь перешагнула через вердикт первого суда и канонизировала Жанну пять столетий спустя?

Исправляя свои промахи, церковь не теряет авторитета

А перешагнула она с большой легкостью. Для католической церкви в значительно большей степени, чем для закона, нет зла, которое нельзя было бы исправить. Она не считается с личной позицией, подобной позиции Жанны, — преобладающая ценность индивидуальной позиции составляет суть протестантизма. Однако и католическая церковь находит место для личной позиции in excelsis[14]: она допускает, что высшая мудрость может прийти к индивидууму в форме Божественного откровения. Если найдется достаточно подтверждающих данных, такого индивидуума можно объявить святым. Коль скоро откровение может либо внезапно просветить индивидуума и повлиять на его позицию, либо снизойти на него в виде наставления, услышанного непосредственно из уст зримого посланца небес, то святого можно определить как лицо, наделенное героической добродетелью, чье частное мнение отмечено Божественной печатью. Многие прогрессивные святые, особенно Франциск и Клара, при жизни конфликтовали с Церковью, вследствие чего даже вставал вопрос: святые они или еретики. Франциск, проживи он дольше, вполне мог угодить на костер. Так что нет ничего невозможного в том, чтобы некое лицо отлучили от церкви как еретика, а по размышлении причислили к лику святых. Отлучение, объявленное провинциальным церковным судом, не принадлежит к числу актов, признаваемых католической церковью непогрешимыми. Пожалуй, стоит сообщить моим читателям-протестантам, что знаменитый догмат о непогрешимости папы — это еще самая скромная из ныне существующих претензий такого рода. По сравнению с нашими непогрешимыми демократиями и медицинскими консилиумами, непогрешимыми астрономами, судьями и парламентами, папа, можно сказать, на коленях повергаясь в прах перед троном Господа, кается в своем невежестве и робко молит, чтобы лишь по поводу считанных исторических дел, относительно которых у него, очевидно, больше источников информации, чем у прочих, его решение было принято как окончательное. Церковь сможет, а в один прекрасный день и захочет канонизировать Галилея, не поступившись непогрешимостью, приписываемой Книге Иисуса простыми душами, в ком рациональная вера в некие главные истины живет вместе с совершенно иррациональной верой в летопись деяний Иисуса, словно это трактат по физике. Пока Церковь, очевидно, еще подождет канонизировать Галилея, хотя это был не самый худший из ее поступков. Но зато Жанну Церковь сумела канонизировать, не поступившись ничем. Жанна-то ведь никогда не сомневалась в том, что солнце движется вокруг Земли — сколько раз ей приходилось это видеть!

И все-таки сожжение Жанны и ей самой, и совести человечества нанесло большой вред. Tout comprendre, c’est tout pardonner[15] — сентиментальное кредо дьявола — не может оправдать этого поступка. И даже если мы допускаем, что трибунал был не только честным и законным, но и поразительно милосердным — избавил Жанну от пытки, полагавшейся за упрямое нежелание принять присягу; что Кошон был куда более выдержанным и добросовестным священником и законником, чем любой английский судья, выступавший в политическом процессе, в котором затронуты его партийные и классовые предрассудки, — все равно, сожжение Жанны д’Арк — это ужас, и историк, который возьмется оправдывать его, способен оправдать что угодно. Недаром жители Маркизовых островов отказываются верить, что англичане не съели Жанну; в этом неверии заключается решающая критика физической стороны дела. Кто же, возражают они, станет возиться — поджаривать человека, если не собирается его съесть? Им не взять в толк, что это делается ради удовольствия. Поскольку мы не можем им ответить ничего, за что бы нам не пришлось краснеть, давайте-ка устыдимся нашего более сложного и изощренного варварства, прежде чем распутывать дело дальше и выяснять, какие оно еще содержит для нас уроки.

Жестокость современная и средневековая

Прежде всего избавимся от представления, будто физическая жестокость сожжения сама по себе играет особо важную роль. Жанну сожгли так же, как сжигали в те времена десятки менее значительных еретиков. Когда Христа распяли, он лишь разделил участь тысяч других, ныне забытых злоумышленников. В смысле физических страданий у Жанны и Христа нет никакого преимущества: известны гораздо более ужасающие виды казней, не говоря уже о муках так называемой естественной смерти, особенно когда конец тяжелый.

Жанну сожгли более пятисот лет назад. Через триста с лишним лет (другими словами, всего за сто лет до моего рождения) на Стивен Грин в моем родном Дублине сожгли женщину за чеканку фальшивых монет, что считалось государственной изменой. В предисловии к недавно вышедшей книге об английских тюрьмах, находящихся в ведении местных властей (авторы Сидней и Беатрис Уэбб), я упоминаю, что уже взрослым человеком присутствовал на двух концертах, которыми дирижировал сам Рихард Вагнер, а Рихард Вагнер еще молодым человеком видел, как люди валом валили поглядеть на то, как будут колесовать солдата, причем из двух способов этого варварского рода казни был выбран наиболее жестокий. Он это видел и свернул в сторону. Пишу я также, что казнь через повешение, вытягивание жил и четвертование, о которой в подробностях и говорить невозможно, была отменена так недавно, что найдутся еще и сейчас люди, когда-то к этой казни приговоренные. У нас до сих пор порют преступников, и мы требуем, чтобы пороли почаще. Но и самые чудовищные из этих зверств не навлекали на жертву столько страданий, унижений, не вызывали такого чувства бессмысленно потерянной жизни, как наши современные тюрьмы, особенно образцовые; и, насколько — я могу судить, это возбуждает так же мало угрызений совести, как и в средние века сожжение еретиков. Причем у нас нет даже оправдания, что мы получаем от наших тюрем такое же удовольствие, какое получали в средние века от костров, колес и виселицы. Жанна, когда ей пришлось выбирать между тюрьмой и костром, рассудила по-своему, выбрав костер. Таким образом она лишила католическую церковь возможности заявить о своей непричастности к ее смерти и свалить всю вину на светскую власть. Церкви следовало ограничиться отлучением. Тут она была в своем праве — Жанна отказалась признать ее авторитет или согласиться на ее условия. И Церковь по справедливости могла сказать: «Ты чужая нам, ступай, ищи себе подходящую религию или создай ее сама». Церковь не имела права говорить: «Теперь, когда ты отреклась, можешь вернуться в наше лоно. Но до конца жизни ты останешься в темнице». Церковь, к несчастью, не поверила, что, кроме нее самой, существует иная душеспасительная религия. Церковь, как и все церкви вплоть до наших дней, была уже глубоко развращена примитивным калибанизмом (в браунинговском смысле) или желанием умилостивить грозное божество с помощью мук и жертвоприношений. Она применяла жестокость не ради жестокости, а ради спасения души Жанны. Жанна, однако, полагала, что спасение ее души — ее собственное дело, а вовсе не каких-то gens d’eglise[16]. Употребив этот термин с таким недоверием и презрением, она проявила себя антиклерикалкой, притом, хотя и в зачаточной форме, столь же бескомпромиссной, как Вольтер и Анатоль Франс. Скажи она дословно следующее: «Долой воинствующую церковь и ее чиновников в черных сутанах! Я признаю только церковь, торжествующую на небесах», — она и тогда не сформулировала бы свой взгляд более четко.

Католический антиклерикализм

Я не хочу, чтобы из моих слов заключили, будто нельзя быть одновременно антиклерикалом и добрым католиком. Все папы-преобразователи были страстными антиклерикалами, грозой для церковников. Все великие ордена произросли на почве недовольства церковниками: францисканский возник из-за снобизма священников, доминиканский — из-за их лени и лаодикианизма, иезуитский — из-за равнодушия, невежества и недисциплинированности священнослужителей. Самый фанатичный из ольстерских оранжистов или из лестерских буржуа-евангелистов (по писанию мистера Генри Невинсона) — просто Галлион по сравнению с Макиавелли, который, не будучи протестантом, был тем не менее яростным антиклерикалом. Любой католик способен начисто отвергнуть, а многие и отвергают, всех церковников порознь и вместе, видя в них ленивых, праздных пьяниц и распутников, недостойных своей великой Церкви и своего звания пастырей людского стада. Но сказать, что спасение людских душ не есть дело церковников, значит сделать еще один шаг и перейти Рубикон. Что Жанна фактически и сделала.

Католицизм недостаточно католический

Итак, если допустить (а приходится это сделать), что сожжение Жанны было ошибкой, мы должны настолько расширить границы католицизма, чтобы он мог включить ее в свою программу. Наши церкви обязаны признать, что никакой официальной земной организации, назначение которой не связано с особыми умственными способностями (а перед лицом фактов и истории воинствующая церковь ничем иным похвастаться не может), никак не выдержать соревнования с личной позицией гениев, — разве что, по редкой случайности, гением окажется папа, и то он должен быть неслыханно властным папой. Церкви должны сами научиться смирению, а не только учить ему других. Апостолическая преемственность не достигается и не ограничивается одним возложением рук: слишком часто языки пламени обрушиваются на язычников и отверженных и слишком часто помазанные церковники представали перед потрясенной историей в виде погрязших в мирских делах мерзавцев. Когда церковь воинствующая ведет себя так, будто она уже торжествующая, она и совершает грубейшие ошибки, как в случае с Жанной, Бруно, Галилеем и прочими, тем отталкивая от себя свободомыслящих. А церковь, в которой нет места для свободомыслящих, которая, более того, не воодушевляет и не награждает свободно мыслящих абсолютной верой в том, что мысль, когда она действительно свободна, сама, по своим законам, должна найти путь, ведущий в лоно Церкви, — такая церковь не имеет будущего в современной культуре. Более того, она явно не верит в научную ценность собственных догматов и склоняется к еретическому убеждению, что теология и науки — два различных и даже противоположных движения, соперничающих друг с другом за своих приверженцев.

Передо мной лежит письмо католического священника: «В вашей пьесе, — пишет он, — я вижу драматическое воплощение конфликта между королевской, священнической и пророческой властью — силами, которые раздавили между собой Жанну. По моему мнению, не победа одной из этих сил над двумя другими принесет мир и господство святых в царстве Божьем, а их плодотворное взаимодействие в тяжком, но благородном состоянии напряжения». Сам папа не мог бы лучше сказать. Я тоже. Мы должны согласиться на это напряжение и поддерживать его с благородством, не поддаваясь соблазну сжечь нить и тем облегчить это напряжение. Именно таков урок, преподанный Жанной Церкви, и то, что его своей рукой священник сформулировал на бумаге, дает мне смелость утверждать: канонизация Жанны была великолепным католическим жестом — Римская церковь канонизировала протестантскую святую! Но его особый смысл и все его значение не проявляются до тех пор, пока он не воспринят и не осознан именно как жест. Если какой-нибудь простак-священник, которому эта мысль недоступна, возразит, что задумано все это было не так, я напомню ему, что все-таки Церковь находится в руках Господа, а не Господь в руках Церкви, как воображают простаки-священники. Так что, если он будет чересчур уверенно ручаться за намерения Бога, его могут спросить: «Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны?» Жанна дала старозаветный ответ: «Если Он лишит меня жизни, я все-таки буду верить в Него. Но я буду отстаивать свой обычай перед Ним».

Закон перемены есть закон Бога

Отстаивая свой обычай, Жанна, подобно Иову, утверждала, что считаться нужно не только с Богом и церковью, но и с обращенным в плоть словом, сиречь с неусредненным индивидуумом, олицетворяющим собой жизнь — быть может, на высшем уровне человеческого развития, быть может, на низшем, но, во всяком случае, не на среднем математическом. Надо сказать, что теория Церкви не обожествляет среднего демократического: члены Церкви просеиваются по откровенному иерархическому принципу до тех пор, пока в конце процесса индивидуум не достигнет высшей ступени как наместник Христа. Но если проследить процесс, окажется, что на всех последовательных ступенях отбора избранников высшие избираются низшими (кардинальный порок демократии), и в результате великие папы столь же редки и случайны, как и великие монархи, так что подчас претенденту на трон и ключи надежнее проходить под маркой выжившего из ума морибундуса, чем энергичного святого. В самом лучшем случае лишь немногие папы были или могли быть канонизированы без занижения уровня святости, установленного самостоятельно избирающими себя святыми.

Но другого результата и ожидать было бы безрассудно: не может официальная организация, распоряжающаяся духовными потребностями миллионов мужчин и женщин, большей частью нищих и невежественных, успешно соревноваться со Святым Духом в выборе патронов, ибо он с непосредственной безошибочностью осеняет индивидуума. Даже если целая коллегия кардиналов будет молиться о том, чтобы вдохновение свыше помогло им в выборе. Быть может, сознательная молитва низших и заключается в том, чтобы их выбору дано было пасть на тех, кто достойнее их, но подсознательное-то желание, обусловленное инстинктом самосохранения, состоит в том, чтобы найти для своих целей надежного исполнителя. Святые и пророки, хотя случайно и занимают иногда то или иное официальное положение и должность, всегда выбирают себя сами, как Жанна. И поскольку ни Церковь, ни Государство по причине их обмирщения не способны гарантировать даже признания таких самовольных миссий, нам ничего не остается, как сделать вопросом чести наивысшую (в пределах разумного) терпимость к ереси, ибо всякая новая ступень развития человеческой мысли и поведения на первых порах неизбежно воспринимается как ересь и беззаконие. Короче говоря, хотя общество в целом и основано на нетерпимости, всякий прогресс основан на терпимости или на признании простого факта: закон эволюции как раз и есть ибсеновский закон перемены. А поскольку закон Бога (какой бы смысл в эти слова ни вкладывать), который в наше время может вселять веру, не подверженную влиянию науки, есть закон эволюции, то из этого следует, что закон Бога есть закон перемены, и когда церкви ополчаются на перемену, как таковую, они ополчаются на закон Бога.

Легковерие современное и средневековое

Когда знаменитого врача Эбернети спросили, почему он предается всем вредным для здоровья привычкам, против которых сам же предостерегает пациентов, он ответил, что выполняет функции указательного столба: всегда указывает путь, но сам туда не идет. Он мог бы добавить: и не заставляет путника туда идти, а также не мешает искать другую дорогу. К сожалению, наши клерикальные указательные столбы, если только они обладают политическим могуществом, обязательно направляют путника в определенную сторону. Пока Церковь была не только духовной, но и светской властью, пока она еще долгое время, насколько могла, оказывала влияние и воздействие на светскую власть, она добивалась ортодоксии гонениями, которые были тем более жестоки, чем лучше были ее намерения. В наши дни, когда врач занял место священника и может фактически делать с парламентом и прессой что захочет, пользуясь слепой верой в доктора, сменивший куда более критическую веру в приходского священника, — в наши дни юридическое принуждение, в силу которого больной обязан брать у врача любой вредоносный рецепт, доведено до такой степени, что оно ужаснуло бы инквизицию и потрясло бы архиепископа Лода. Наше легковерие гораздо хуже, чем легковерие средних веков, потому что у священника не было той прямой денежной заинтересованности в наших грехах, какую питает доктор по отношению к нашим болезням: в отличие от частного, коммерческого врача пастырь не голодал, когда с паствой было все в порядке, и не преуспевал, когда она гибла. К тому же средневековый клирик верил, что после смерти с ним произойдет нечто в высшей степени неприятное, если он будет действовать без зазрения совести, — вера, ныне, по существу, утраченная лицами, получившими догматическое материалистическое образование. Наши профессиональные корпорации — тред-юнионы — не проклянешь, у них нет души. Но скоро они вынудят вас напомнить им, что зато у них имеется тело, и его можно пнуть. Ватикан, тот никогда не был бездушным; в худшем случае он представлял собой политическую организацию, поставившую своей целью путем заговора добиться, чтобы Церковь стала высшей силой, не только духовной, но и светской. Поэтому-то вопрос, поставленный сожжением Жанны, по-прежнему остается жгучим, хотя сейчас решение его не повлечет за собой столь сенсационных последствий. Вот почему я и занимаюсь этим вопросом. Если бы речь шла просто об историческом курьезе, я не потратил бы на него и пяти минут времени.

Терпимость современная и средневековая

Чем больше мы вникаем в этот вопрос, тем сложнее он становится. При первом рассмотрении мы склонны согласиться с мнением, что Жанну следовало отлучить от Церкви и затем предоставить ей идти своим путем. Правда, сама она яростно протестовала бы против такой жестокости — против того, чтобы у нее отняли духовную пищу, ибо исповедь, отпущение грехов и причащение тела Господня составляли ее главные жизненные потребности. Такая сильная личность могла бы и преодолеть это затруднение, как английская церковь преодолела буллы папы Льва, — основать собственную церковь и провозгласить ее оплотом истинной исконной веры, от которой отступили ее гонители. Но поскольку в те времена подобный поступок, с точки зрения Церкви и Государства, был насаждением пагубы и анархии, то для того чтобы проявить терпимость, потребовалась бы такая большая вера в свободу, какая недоступна по природе политику и священнику. Легко сказать, что Церковь должна была дождаться, когда предполагаемое зло проистечет, а не считать заведомо, что оно проистечет, и гадать, в чем оно будет состоять. Казалось бы, чего проще. Но что, если бы нынешняя администрация, ведающая народным здравоохранением, в вопросах санитарии предоставила бы людей целиком самим себе, говоря: «Нам дела нет до канализации и до вашего о ней мнения, но если заразитесь оспой или сыпным тифом, мы подадим на вас в суд и, следуя примеру властей в батлеровском Едгине, постараемся, чтобы вас очень сурово наказали»? Да такую администрацию либо поместили бы в дом умалишенных, либо напомнили ей, что, отказываясь соблюдать правила санитарии, А на расстоянии двух миль может убить ребенка у Б или вызвать эпидемию, во время которой могут погибнуть наиболее сознательные блюстители чистоты.

Нам придется смириться с тем, что общество основано на нетерпимости. Бывают, конечно, вопиющие проявления нетерпимости, но они характерны для наших дней так же, как и для средних веков. Типичный пример из современности — обязательные прививки, заменившие собой обязательное крещение. Однако против них возражают потому, что считают их диким, антинаучным, а также злонамеренным и антисанитарным шарлатанством, а вовсе не потому, что полагают неправильным насильно заставлять людей предохранять детей от болезни. Противники обязательно хотели бы сделать из нее преступление и, возможно, преуспеют в этом. И тогда это станет проявлением такой же нетерпимости, что и принцип обязательности. Ни пастеровцы, ни их противники — блюстители санитарии — не дают родителям растить своих детей голыми, хотя и это течение тоже имеет своих внушающих доверие защитников. Мы можем сколько угодно болтать о терпимости, но обществу приходится проводить границу между допустимым поведением и безумием или преступлением, хотя так легко ошибиться и принять мудреца за сумасшедшего и Спасителя за богохульника. Мы все равно всегда будем подвергать кого-то гонениям, карая всеми наказаниями, вплоть до смерти. Умерить опасность гонений мы можем только так: во-первых, преследовать с большой осторожностью и, во-вторых, помнить, что если не предоставлять свободу шокировать сторонников условностей и не отдавать себе отчета в том, сколь много значит оригинальность, индивидуальность и эксцентричность, это, бесспорно, приведет к загниванию, а это подразумевает подавление сил эволюции, которые в конце концов вырвутся наружу с невиданной и, быть может, разрушительной необузданностью.

Варианты терпимости

Степень терпимости в каждый данный момент зависит от напряженности условий, при которых обществу приходится поддерживать свою сплоченность. В военное, например, время мы запрещаем проповеди Евангелия, сажаем в тюрьму квакеров, затыкаем рот газетчикам и объявляем тяжким преступлением освещенные в ночную пору окна. Под угрозой вторжения французское правительство в 1792 году отрубило четыре тысячи голов главным образом по причинам, которые в условиях устойчивого мира не побудили бы ни одно правительство даже собаку усыпить. В 1920 году британское правительство сжигало и резало народ по всей Ирландии, преследуя сторонников конституционных перемен, которые само тут же вынуждено было осуществить. Позднее фашисты вытворяли в Италии то же, что черно-пегие в Ирландии, с некоторыми до нелепости жестокими вариантами, и вызвано это было неумелой попыткой социалистов произвести индустриальную революцию, хотя разбирались они в социализме еще меньше, чем капиталисты в капитализме. В 1917 году в Соединенных Штатах во время паники, вызванной большевистской революцией в России, с невероятной жестокостью преследовали русских. Подобные примеры можно было бы множить и множить, но и этих достаточно, чтобы показать, что между максимально благосклонной терпимостью и безжалостным нетерпимым терроризмом лежит целая шкала градаций, на протяжении которой терпимость то поднимается, то падает; они показывают также, что нет ни малейших оснований для самодовольства девятнадцатого столетия, убежденного, что оно более терпимо, чем пятнадцатое, и что такое событие, как казнь Жанны, не могло произойти в наш просвещенный век. Тысячи женщин, из которых каждая в тысячу раз менее опасна и страшна для наших правительств, чем Жанна была для правительства своего времени, за последние десять лет истреблены, уморены голодом, лишены крова за время гонений и террора в процессе крестовых походов, преследующих намного более тиранические цели, нежели-средневековые крестовые походы, которые не предполагали ничего более грандиозного, чем отвоевать гроб Господень у сарацинов. Инквизиция и ее английский заменитель — Звездная палата, как таковые, вышли из употребления. Но могут ли современные заменители инквизиции — особые трибуналы и комиссии, карательные экспедиции, приостановка закона о неприкосновенности личности (habeas corpus), введение военного и малого осадного положений и прочее в том же роде, — могут ли они похвалиться тем, что жертвам их был предоставлен такой же справедливый суд, такой же хорошо продуманный свод законов, регулирующий ход процесса, или такой же добросовестный судья, настаивающий на строгой законности судопроизводства, какие были предоставлены Жанне инквизицией и всем духом средневековья, в то самое время, когда страна находилась в напряженнейших условиях внутренней и внешней войны? У нас она не добилась бы ни суда, ни закона, кроме закона об обороне государства, отменяющего всякую законность, да и в качестве судьи получила бы, в лучшем случае, равнодушного майора, а в худшем — служителя правосудия в горностае и пурпуре, которому терзания такого высокообразованного служителя Церкви, как Кошон, показались бы нелепыми и недостойными джентльмена.

Конфликт между гением и дисциплиной

Уяснив себе таким образом суть вопроса, рассмотрим теперь то особое свойство психики Жанны, из-за которого с ней было не справиться. Что делать, с одной стороны, с правителями, которые не объясняют мотивов своих приказов, и, с другой стороны, с людьми, которым не понять мотивов, если им и объяснить их? Управление миром — политическое, индустриальное и семейное — осуществляется главным образом путем отдачи и выполнения приказов именно на таких условиях, «Не спорь, делай как тебе велено», — говорится не только детям и солдатам, но фактически всем вообще. К счастью, большинство людей и в мыслях не имеют спорить: они рады-радешеньки, что за них кто-то думает. А наиболее талантливым и независимым мыслителям достаточно смыслить в своей узкой области. В других же областях они с полным доверием попросят указаний у полицейского или совета у портного и примут их без всяких объяснений.

И все-таки должен быть какой-то резон в том, что приказ подлежит выполнению. Ребенок подчиняется родителям, солдат — офицеру, философ — вокзальному носильщику, а рабочий — мастеру, причем все — беспрекословно, так как повсеместно принято считать, что отдающие приказания компетентны, уполномочены и даже обязаны их отдавать, и так как в неожиданностях повседневной жизни нет времени на уроки и объяснения — и некогда оспаривать правильность приказов. Такое повиновение столь же необходимо для непрерывного действия нашей социальной системы, как и вращение Земли необходимо для смены дня и ночи. Но повиновение это совсем не так стихийно, как кажется: его следует очень тщательно подготавливать и поддерживать. Епископ покорен воле короля, но пусть попробует приходский священник отдать ему приказание, хотя бы и нужное, и разумное, — епископ, забыв свой сан, тут же обзовет того наглецом. Чем покорнее человек повинуется узаконенной власти, тем ревнивее оберегает свое самолюбие, не допуская, чтобы им командовал кто-то, властью не облеченный.

А теперь, держа все это в голове, рассмотрим карьеру Жанны — деревенской девушки, властной лишь над овцами и свиньями, собаками и курами, да еще до некоторой степени над работниками, которых иногда нанимал отец, но больше ни над кем. За пределами крестьянского двора не было у нее никакой власти, никакого престижа, никакого права на минимальное почтение. И, однако, она командовала всеми подряд — от собственного дяди до короля, архиепископа и генерального штаба. Дядюшка повиновался ей, как овечка, и отвел ее в замок к коменданту. Тот, когда она начала им командовать, попытался сперва отстаивать свои права, но не выдержал и быстро покорился. И так далее, вплоть до короля. Это невыносимо раздражало бы, если бы даже приказания ее предлагались как рациональный выход из безвыходного положения, в каком тогда очутились лица, стоявшие выше ее. Так нет же, они предлагались совсем не так. И предлагались вовсе не как изъявление непреклонной и деспотичной воли Жанны. Не «Так велю я», а всегда: «Так велит Бог».

Жанна — выразительница теократической идеи

У вождей, провозглашающих эту идею, с одними людьми хлопот никаких, с другими — не оберешься. Первые считают их посланцами Бога, вторые — нечестивыми обманщиками, — равнодушное отношение им не грозит. В средние века повсеместная вера в колдовство особенно усиливала этот контраст, ибо, если случалось явное чудо (как, например, под Орлеаном, когда вдруг переменился ветер), для доверчивых оно служило доказательством Божественности миссии Жанны, а для скептиков — доказательством ее договора с дьяволом. На протяжении всей своей карьеры Жанне приходилось опираться на тех, кто видел в ней ангела во плоти, в борьбе с теми, кто не только возмущался ее самонадеянностью, но и фанатически ненавидел ее за ведовство. К этой ненависти добавим еще крайнее раздражение всех не веривших в «голоса» и видевших в ней лгунью и обманщицу. Действительно, есть от чего прийти в бешенство государственному деятелю, или командующему, или королевскому фавориту: над ними поминутно брала верх или отнимала монаршую благосклонность наглая девчонка, выскочка, которая злоупотребляла легковерием толпы и тщеславием и наивностью инфантильного принца, используя многочисленные благоприятные случаи, сходившие за чудеса у людей доверчивых. Успех Жанны не только обострил зависть, высокомерие, и честолюбивое чувство соперничества у натур низких, но даже и среди дружески настроенных, умевших мыслить критически, развивалось вполне оправданное скептическое и недоверчивое отношение к ее способностям, так как они имели полную возможность наблюдать ее явное невежество и опрометчивость. А поскольку она отвечала на все возражения и критические замечания не доводами и убеждениями, а категорической ссылкой на волю Господа и на особое его доверие к ней, то всем, кто не был ею ослеплен, она, вероятно, казалась такой невыносимой, что лишь непрерывная цепь ошеломляющих успехов на военном и политическом поприще спасала ее столько времени от ярости, которая в конце концов ее уничтожила.

Непрерывная цепь успехов — очень существенное условие торжества теократической идеи

Но чтобы выковать такую цепь, ей пришлось бы совместить в своем лице короля, архиепископа Реймского, Бастарда Орлеанского и себя самое в придачу. А это было нереально. С того момента, как провалилась попытка Жанны заставить Карла вслед за коронацией накинуться на Париж, песенка ее была спета. Оттого, что она настаивала на этом, когда король и окружение робко и безрассудно мечтали поладить с герцогом Бургундским и вступить с ним в союз против Англии, она превратилась для них в несносную помеху. С той поры ей оставалось только караулить около очередного поля боя, выжидая удобный случай, когда можно будет подбить капитанов на решительные действия. Но удобный случай выпал противнику: Жанну захватили в плен бургундцы, осаждавшие Компьен. И тут Жанна сразу обнаружила, что в политическом мире у нее нет ни одного друга. Если бы ей тогда удалось избежать плена, она, вероятно, сражалась бы до тех пор, пока англичане не ушли из Франции, после чего ей пришлось бы отряхнуть придворный прах со своих ног и удалиться в Домреми, как Гарибальди пришлось удалиться на Капри.

Современные искажения истории Жанны

Вот, пожалуй, и все, что мы можем позволить себе сказать о прозаической стороне истории Жанны. Романтическая же сторона ее возвышения, трагедия ее казни и комедия последующих попыток исправить эту роковую ошибку относятся уже к моей пьесе, а не к предисловию: оно призвано ограничиться трезвым положением исторических фактов. А что сейчас такого исторического очерка очень не хватает — видно, если проглядеть любой из наших биографических справочников стандартного типа. Они аккуратно перечисляют данные о визите Жанны в Вокулер, о помазании Карла в Шиноне, о снятии осады с Орлеана[17] и последующих битвах, о коронации в Реймсе[18], о пленении Жанны при Компьене, а также о суде и казни в Руане, перечисляют все даты и имена участников событий. Но все эти справочники спотыкаются на одном и том же — мелодраматической легенде о негодном епископе, о попавшей в ловушку деве и всем прочем. Куда меньше они вводили бы в заблуждение людей, если бы ошибались в фактах, но правильно их освещали. Между тем они иллюстрируют следующую, слишком редко принимаемую во внимание, истину: манера мыслить меняется так же, как манера одеваться, и большинству людей трудно, а то и невозможно мыслить иначе, чем принято в их время.

История всегда устаревает

Вот почему, кстати, детей никогда не обучают современной истории. Учебники истории рассказывают о временах отдаленных, образе мыслей устаревшем и событиях, которые не имеют аналогий в настоящем. Детям, например, теперь говорят правду про Вашингтона и лгут про Ленина. Во времена Вашингтона им лгали про Вашингтона и говорили правду про Кромвеля. В пятнадцатом и шестнадцатом столетиях детям лгали про Жанну, так что пора бы им наконец узнать о ней правду. К сожалению, вранье про Жанну не прекратилось и тогда, когда устарели политические обстоятельства. Благодаря Реформации, которую Жанна неосознанно предвосхитила, вопросы, вставшие в связи с ее историей, до сих пор остаются жгучими (в Ирландии и сейчас жгут дома); в результате Жанна всегда оставалась поводом для антиклерикального вранья, для сугубо протестанской лжи и для римско-католического замалчивания ее неосознанного протестантизма. Правда застревает у нас в глотке вместе со всеми соусами, которыми ее приправляют, и проглотить эту правду нам удастся, только когда ее поднесут без всякого соуса.

Реальная Жанна кажется нам недостаточно необыкновенной

Как ни проста вера, которую исповедовала Жанна, ее с презрением отвергает антиметафизическая цивилизация XIX века, сохраняющая свою силу в Англии и Америке и обладающая тиранической властью во Франции. Мы не ударяемся, как современники Жанны, в другую крайность и не шарахаемся от нее, как от ведьмы, продавшейся дьяволу, — мы не верим в дьявола и возможность торговых сделок с ним. Все-таки наше легковерие хоть и велико, но не безгранично, и его запас сильно израсходован на медиумов, ясновидцев, хиромантов, месмеристов, последователей «христианской науки», психоаналитиков, толкователей электрических вибраций, терапевтов всех школ, зарегистрированных и неофициальных; астрологов, астрономов, сообщающих нам, что солнце удалено от нас почти на сто миллионов миль и что Бетельгейзе в десять раз больше всей Вселенной; на физиков, которые сопоставили величину Бетельгейзе с бесконечно малой величиной атома, и на кучу прочих современных чудотворцев, чьи чудеса в средневековом мире вызвали бы взрыв саркастического смеха. В средние века люди думали, что Земля плоская, и они располагали, по крайней мере, свидетельством собственных органов чувств. Мы же считаем ее круглой не потому, что среди нас хотя бы один из ста может дать физическое обоснование такому странному убеждению, а потому, что современная наука убедила нас в том, что все очевидное не соответствует действительности, а все фантастичное, неправдоподобное, необычайное, гигантское, микроскопическое, бездушное или чудовищное оправдано с точки зрения науки.

Не поймите, между прочим, будто я хочу сказать, что Земля плоская или что, благодаря нашему потрясающему легковерию, мы каждый раз заблуждаемся или поддаемся на обман. Нет, я только защищаю мой век от обвинения в том, что у него меньше воображения, чем у средневековья. И утверждаю, что XIX век и еще в большей степени XX заткнул за пояс XV по части пристрастия к чудесам и всему сверхъестественному, к святым, пророкам, волшебникам, монстрам и всякого рода сказкам. В последнем издании Британской энциклопедии объем непостижимого, по сравнению с вызывающим безоговорочное доверие, много больше, чем в Библии. В смысле романтического легковерия средневековые доктора теологии, не бравшиеся установить, сколько ангелов могут уместиться на кончике иглы, в подметки не годятся современным физикам, которые с точностью до биллионной доли миллиметра рассчитали положение и размещение электронов в атоме. Ни под каким видом не стал бы я подвергать сомнению точность этих расчетов или само наличие электронов (как бы ни понимать, что это такое). Участь Жанны служит для меня предостережением против подобной ереси. Но почему те, кто верят в электроны, считают себя менее легковерными, чем те, кто верил в ангелов, — это для меня загадка. И если они отказываются верить вместе с руанскими заседателями 1431 года в то, что Жанна была ведьмой, то не по причине фантастичности этого утверждения, а по причине недостаточной его фантастичности.

Сценические ограничения исторического спектакля

Историю Жанны читатель найдет в следующей далее пьесе. В ней содержится все, что надо знать о Жанне. Но поскольку пьеса написана для сцены, мне пришлось впихнуть в три с половиной часа целый ряд событий, которые в реальной истории происходили на протяжении четырежды трех месяцев, ибо театр навязывает нам единство времени и места, чего Природа в своей безудержной расточительности не соблюдает. Так что читатель не должен предполагать, будто Жанна действительно в два счета заставила Роберта де Бодрикура плясать под свою дудку или что отлучение, покаяние, рецидив ереси и смерть на костре совершились в каких-нибудь полчаса. И мои притязания не идут больше того, что некоторые современники Жанны в моем драматическом изображении чуть больше похожи на оригиналы, чем мнимые портреты всех тех пап, начиная от святого Петра (и далее, через темные века), которые до сих пор торжественно висят в Уффици во Флоренции (во всяком случае, висели, когда я там был в последний раз). Мой Дюнуа с равным успехом мог бы подойти на роль герцога Алансонского. Оба оставили описания Жанны, до того схожие между собой, что, поскольку человек, описывая другого, бессознательно описывает самого себя, я сделал вывод о сходстве душевного склада этих добродушных молодых людей. Поэтому я слил эту парочку воедино, состряпав из них одного персонажа, и таким путем сэкономил театральному менеджеру одно жалованье и один комплект доспехов. Портрет Дюнуа, сохранившийся в библиотеке Шатодена, дает некоторую пищу воображению, но в общем-то я знаю об этих людях и обо всем их круге не больше, чем Шекспир знал о Фолконбридже и герцоге Австрийском или о Макбете и Макдуфе. Ввиду всего того, что они совершили в истории и должны повторить снова в пьесе, я могу только сочинить для них подходящие характеры в духе Шекспира.

Просчет в елизаветской драме

Я, однако, располагаю одним преимуществом перед елизаветинцами. Когда я пишу о средних веках, они передо мной как на ладони, ибо их, можно сказать, открыли заново в середине XIX века после периода забвения лет этак в четыреста пятьдесят. Возрождение античной литературы и искусства в XVI веке и бурный рост капитализма совместно похоронили средние века. Их воскрешение — это второй Ренессанс. Должен сказать, что в шекспировских исторических пьесах нет и признака атмосферы средневековья. Его Джон Гант прямо этюд, написанный с Дрейка в старости. Хотя Шекспир по фамильной традиции был католиком, его персонажи — в высшей степени протестанты: они индивидуалисты, скептики, эгоцентрики во всем, кроме как в делах любовных, но даже и тут они себялюбивы и сосредоточены на собственном чувстве. Его короли — не государственные деятели; его кардиналы чужды религии. Человек несведущий может прочитать его пьесы от корки до корки и так и не узнать, что мир, в конечном счете, управляется силами, которые находят свое воплощение в определяющих эпохи религиях и законах, а вовсе не вульгарно честолюбивыми личностями, охочими до драк. Божество, которое лепит наши судьбы, как бы мы потом ни обтесывали их по-своему, если и упоминается в фаталистическом смысле, то сразу же забывается, словно мимолетное смутное ощущение. Для Шекспира, как и для Марка Твена, Кошон был бы тиран и грубиян, а не католик; инквизитор Леметр был бы садист, а не законник. У Уорика было бы не больше черт феодала, чем у его преемника, делателя королей, из пьесы «Генрих VI». Как видим, все они были абсолютно убеждены в том, что главное: будь верен сам себе, тогда ты не изменишь и другим (заповедь, отражающая крайнюю реакцию на средневековые воззрения), — как будто они жили в пустом пространстве, не имея никаких обязательств перед обществом. Все шекспировские персонажи таковы, потому их так легко принимают наши буржуа, которые живут безответственно и припеваючи за счет других, не стыдятся такого положения дел и даже не сознают его. Природе противен этот изъян у Шекспира, и я постарался, чтобы средневековая атмосфера свободно веяла в моей пьесе. Повидавшие спектакль не примут потрясающее событие, описываемое в пьесе, за обыкновенный частный случай. Перед нами предстанут не только реальные человеческие марионетки из плоти и крови, но и сама Церковь, и инквизиция, и феодальная система, и божественное дыхание, бьющееся об их непроницаемую оболочку, — и выглядит все это куда страшнее и драматичнее, чем фигурки простых смертных, лязгающих металлом лат или бесшумно двигающихся в рясах и капюшонах доминиканского ордена.

Трагедия, а не мелодрама

В пьесе нет негодяев. Преступление, как и болезнь, не представляет интереса, — с ним надо покончить с общего согласия, и все тут. Всерьез же нас интересует то, что лучшие люди делают с лучшими намерениями и что люди обыкновенные считают себя обязанными сделать, несмотря на свои добрые намерения. Гнусный епископ и жестокий инквизитор Марка Твена и Эндру Ланга скучны, как карманные воришки; они и Жанну низводят до уровня заурядного персонажа, у которого обчистили карманы. Я изобразил их одаренными и красноречивыми представителями церкви воинствующей и церкви судействующей. Только так я могу удержать свою драму на уровне высокой трагедии и не дать ей превратиться в сенсацию уголовного суда. Злодей в пьесе никогда не будет ничем другим, кроме diabolus ex machina[19], — быть может, прием более волнующий, чем deus ex machina[20], но в такой же степени механический, а следовательно, интересный тоже только как механизм. Нас, я повторяю, занимают поступки людей, в обычных обстоятельствах добродушных. И если бы Жанну сожгли не такие вот добродушные в своем праведном усердии, то ее смерть от их рук имела бы не больше значения, чем смерть многочисленных девиц, сгоревших в Токио во время землетрясения. Трагедия подобных убийств в том, что совершают их не убийцы, — это убийства узаконенные, совершаемые из благочестивых побуждений. И это противоречие сразу же вносит элемент комедии в трагедию: ангелы, быть может, заплачут при виде убийства, но боги посмеются над убийцами.

Приукрашивание в трагедиях неизбежно

Вот где причина того, что моя драма из жизни святой Иоанны, давая в целом правдивую картину, переиначивает отдельные второстепенные факты. Нечего и говорить, что старинные мелодрамы о Жанне д’Арк, где почти без исключения дело сводится к конфликту между злодеем и героем (в данном случае героиней), не только упускают главное, но и искажают образы действующих лиц: Кошон выходит негодяем, Жанна — примадонной, Дюнуа — любовником. Но автор высокой трагедии и комедии, стремящийся к наивозможно сокровеннейшей правде, непременно должен обелять Кошона и ничуть не меньше, чем автор мелодрамы чернит его. Насколько мне удалось выяснить, нет никаких сведений о Кошоне, которые позволили бы обвинить его в вероломстве или какой-то исключительной жестокости в ходе суда над Жанной, или в той степени классовой и сектантской предубежденности против подсудимого и в пользу полиции, какая принимается в наших теперешних судах за нечто само собой разумеющееся. Однако нет и оснований отнести его к великим католическим церковникам, полностью застрахованным от обусловленных мирскими обстоятельствами страстей. Да и инквизитор Леметр, судя по тем скудным сведениям, которые сейчас можно раскопать, не так уж умело справлялся со своими обязанностями и рассматриваемым казусом, как это изобразил я. Но такова уж специфика театра, что на сцене персонажи оказываются вразумительнее, понятнее для самих себя, чем в жизни. И правильно, ибо никаким другим способом не станут они вразумительными для зрителей. А в таком случае Кошон и Леметр должны разъяснить не только себя, но еще и Церковь, и инквизицию, равно как Уорик должен разъяснить феодальную систему, словом, эти трое должны дать зрителям XX века понятие об эпохе, коренным образом отличной от их собственной. Исторические Кошон, Леметр и Уорик, бесспорно, не смогли бы этого сделать, — они сами были частью средневековья и потому имели не больше понятия об ее особенностях, чем о химическом составе воздуха, которым дышали. Пьеса осталась бы невразумительной, если бы я не наделил их достаточной долей этого понимания, чтобы они могли объяснить свою позицию XX столетию. Неизбежно поступившись правдоподобием, я, осмелюсь утверждать, единственным возможным способом добился достоверности, которая оправдывает вывод, сделанный мною на основе имеющейся документации и отпущенной мне способности прорицания, а именно: что слова, которые я вкладываю в уста этих трех исполнителей моей драмы, и есть те слова, которые они произносили бы на самом деле, если бы сознавали истинный смысл своих поступков. И больше этого ни для драмы, ни для истории я сделать не могу.

О некоторых благожелательных советах, имеющих целью улучшить пьесу

Я должен поблагодарить нескольких критиков по обе стороны Атлантического океана (включая и тех, кто отзывается о моей пьесе со столь нескрываемым восторгом) за их прочувствованные наставления, призванные исправить ее недостатки. Они говорят, что если убрать эпилог и всякие упоминания о таких несценичных и скучных материях, как Церковь, феодальная система, инквизиция, еретические учения и прочая, все равно обреченных на безжалостное уничтожение рукою любого опытного режиссера, то пьеса станет значительно короче. Думаю, что они ошибаются. Опытные мастера вымарывания, выпотрошив пьесу и сэкономив таким образом полтора часа, тут же нагонят лишних два часа, возводя сложные декорации, наливая настоящую воду в реку Луару, строя через нее настоящий мост, ненатурально изображая бой за этот мост и проводя по сцене длинную колонну французов-победителей во главе с Жанной, верхом на настоящей лошади. Коронация затмит все прежние театральные действа: будет показано сперва шествие по улицам Реймса, а затем служба в соборе, — и то, и другое под музыку, написанную специально для этих сцен. Подобно мистеру Мэтисону Лангу в «Вечном жиде» Жанну сожгут прямо на глазах у публики, исходя из принципа, что неважно, по какому поводу сжигают женщину, лишь бы сжигали, а зрители платили за это денежки. Антракты, в течение которых театральными плотниками воздвигается, а потом уничтожается это великолепие, будут казаться бесконечными — к большой выгоде буфетов. И утомленная и деморализованная публика, упустив последний поезд, будет проклинать меня за то, что я пишу такие неумеренно длинные и невыносимо скучные, бессмысленные пьесы. Но одобрение прессы будет единодушным. Ни один человек, кому известна история театральных постановок Шекспира, не усомнится в том, что их судьба постигла бы и мою драму, будь я настолько несведущ в своем ремесле, чтобы слушаться подобных благожелательных, но губительных советов. Быть может, так оно еще и случится, когда я лишусь авторских прав. Так что, пожалуй, публике лучше посмотреть пьесу, пока я жив.

Эпилог

Что касается эпилога, то едва ли можно от меня ждать, что я подрублю под собой сук и сделаю вывод, будто для человечества история Жанны кончается трагически, казнью, а не начинается с нее. Необходимо было всеми правдами и неправдами показать канонизированную, а не только сожженную Жанну. Ведь мало ли женщин сгорело по собственной неосторожности, махнув муслиновой юбкой над горящим камином в гостиной. Но быть канонизированной — совсем другое дело и несравненно более важное. Так что, боюсь, эпилог придется оставить.

Критикам, чтобы не чувствовали себя обойденными

Для профессионального критика (я сам был им) хождение по театрам — наказание Господне. Спектакль — зло, которое он со скрежетом зубовным должен выносить за плату, и чем скорее оно кончится, тем лучше. Возникает подозрение, что тем самым он становится непримиримым врагом театрала, который сам платит деньги и потому считает: чем длиннее пьеса, тем больше удовольствия он получает за свои денежки. И так оно и есть, особенно вражда эта сильна в провинции, где зритель ходит в театр исключительно ради пьесы и так усиленно настаивает на определенной длительности развлечения, что менеджеры, имеющие дело с короткими лондонскими пьесами, попадают в весьма затруднительное положение.

В Лондоне у критиков имеется подкрепление в виде целой категории зрителей, которые ходят в театр, как иные ходят в церковь: для того, чтобы продемонстрировать свои наряды и сравнить их с нарядами других; чтобы не отставать от моды; чтобы было о чем говорить на званых обедах; чтобы получить возможность обожать главного исполнителя; чтобы провести вечер где угодно, только не дома. Короче говоря, руководятся любыми мотивами, кроме интереса к самому драматическому искусству. В модных районах число неверующих, но посещающих церковь, не любящих музыку, но посещающих концерты и оперы, не любящих театр, но посещающих спектакли, так велико, что проповеди пришлось сократить до десяти минут, а спектакли до двух часов. Но даже и тут прихожане ждут не дождутся благословения, а зрители занавеса, чтобы отправиться наконец туда, куда они в действительности стремятся — на ленч или на ужин, хотя и так уже зрелища начинаются как можно позже, а зрители еще и опаздывают к началу.

Таким-то, образом по милости партера и прессы распространяется дух фальши. Никто не говорит прямо, что настоящая драма — скучища адова и заставлять людей мучиться больше двух часов кряду (они имеют возможность отдохнуть во время двух длинных антрактов) требование непосильное. Никто не скажет: «От классической трагедии и комедии меня так же воротит, как от проповедей и симфоний, я люблю полицейскую хронику, объявления о разводах и всякие танцы и декорации, которые сексуально возбуждают меня, или мою жену, или моего мужа. И как бы там ни притворялись разные интеллектуальные снобы, для меня удовольствие просто не вяжется ни с каким видом умственной деятельности, и я не сомневаюсь, что и у остальных так». Этого никто не говорит, однако девять десятых того, что выдается за театральную критику в столичной прессе Европы и Америки, представляет собой не что иное, как путаную парафразу этого высказывания. И другого смысла эти девять десятых не имеют.

Я не жалуюсь на такое положение дел, хотя оно (совершенно необоснованно) направлено против меня. Я могу так же не обращать на это внимания, как Эйнштейн не обращал внимания на людей, неспособных к математике. Я пишу в классической манере для тех, кто платит за вход в театр потому, что любит классическую комедию или трагедию, так любит, что когда пьеса хорошо написана и хорошо поставлена, они с неохотой отрываются от нее, чтобы поспеть на последний поезд или омнибус и добраться домой. Они не только не опаздывают к спектаклю на полчаса, нарочно являясь попозже, после позднего обеда (начинающегося в восемь — половине девятого), — они часами стоят в очередях на улице перед театром задолго до начала, чтобы получить билет. В странах, где спектакль длится неделю, зрители приносят с собой корзинки с едой и стойко выдерживают до конца. От этих-то любителей зависит мой заработок. Я не закатываю им двенадцатичасовых представлений, так как пока такие развлечения неосуществимы, хотя спектакль, начинающийся после завтрака и кончающийся на закате, физически возможен и с исполнительской, и с зрительской точки зрения не только в Обер-Амергау, но и в Суррее или Мидлсексе. Просидеть всю ночь в театре было бы ничуть не менее увлекательно, чем провести всю ночь в палате общин, а пользы куда больше. Что касается «Святой Иоанны», то здесь я постарался уложиться в установленное классическое время три с половиной часа беспрерывной игры, не считая одного антракта, да и то по соображениям, не имеющим ничего общего с искусством. Я знаю, что поступил нехорошо по отношению к псевдокритикам и людям «света», чьи посещения театра — чистое лицемерие. Я даже испытываю к ним некоторое сострадание, когда они уверяют, что мою пьесу, как она ни замечательна, неминуемо ждет провал из-за того, что она не начинается без четверти девять и не кончается в одиннадцать. Факты сокрушающим образом говорят против них. Они забывают, что не все такие, как они. Но, повторяю, мне жаль их, и хотя ради них я не стану переделывать пьесу и помогать ненавистникам театра выжить из него тех, кто его любит, я тем не менее могу подсказать им несколько средств, которые вполне им доступны. Они могут избежать первой части пьесы, прибегнув к своей обычной уловке — опоздать к началу. Могут избежать эпилога — уйти, не дожидаясь конца. А если оставшийся, не поддающийся сокращению минимум все равно покажется им тягостным, они могут ведь и совсем не ходить на спектакль. Но это крайнее средство я не одобряю, оно нанесет урон моему карману и их душам. Уже некоторые из них заметили, что главное — не реальное время, которое занимает спектакль, а то, насколько быстро оно проходит для зрителя. Они увидели, что театр, хотя и производит очищающее действие в аристотелевы мгновения, не всегда так скучен, как им до сих пор казалось. Какое нам дело до некоторых неудобств, причиняемых спектаклем, когда пьеса заставляет забывать про них?

Май, 1924

СВЯТАЯ ИОАННА

(Хроника в шести частях с эпилогом)

Перевод О. Холмской

Картина первая

Ясное весеннее утро на реке Маас, между Лотарингией и Шампанью, в 1429 году. Замок Вокулер.

Капитан Роберт де Бодрикур, средней руки дворянин на службе в войсках короля, красивый мужчина, внешне энергичный, но, в сущности, слабохарактерный, старается, как обычно, скрыть этот свой недостаток бурным выражением чувств, — сейчас он яростно разносит своего эконома. Эконом — тщедушный человечек, наполовину лысый, смиренного нрава и неопределенного возраста — где-то между восемнадцатью годами и пятьюдесятью пятью; он из тех людей, которые не стареют, ибо никогда не были молоды.

Разговор этот происходит в залитой солнцем комнате с каменными стенами в нижнем этаже замка. Капитан сидит перед тяжелым дубовым столом, на таком же стуле; он виден слева в профиль. Эконом стоит по другую сторону стола, — если можно столь униженную позу назвать стоячим положением. За ним — окно с мелким переплетом, какие делались в XIII веке. У окна в углу — узкая сводчатая дверь в башню; оттуда по винтовой лестнице можно спуститься во двор. Под стол задвинута грубо сколоченная табуретка; у окна стоит большой деревянный ларь.

Роберт. Нету яиц! Нету яиц! Тысячу громов! Как ты смеешь мне говорить, что яиц нету!

Эконом. Сир, я же не виноват. Это воля Божья.

Роберт. Кощунство! Не достал яиц — и норовишь свалить на Господа Бога!

Эконом. Ну а что же я сделаю, сир? Я не могу сам нести яйца.

Роберт (саркастически). Ха! Еще и шуточки отпускаешь!

Эконом. Нет, нет! Видит Бог, сир, я не шучу. Все сидим без яиц, не только вы. Куры не хотят нестись.

Роберт. Вот как! (Встает.) Слушай-ка, ты!

Эконом (смиренно.) Да, сир.

Роберт. Кто я такой?

Эконом. Кто вы такой, сир?..

Роберт (грозно надвигается на него). Да, кто я такой? Роберт де Бодрикур, начальник гарнизона замка Вокулер, — или я пастух?

Эконом. Помилуйте, сир! Все знают, что вы здесь самый большой человек, важнее даже, чем король.

Роберт. Вот именно. А ты кто такой?

Эконом. Я никто, никто… за исключением того, что я имею честь быть вашим экономом.

Роберт (наступая на него и каждым эпитетом пригвождая его к стене). Ты не только имеешь честь быть моим экономом, ты еще и самый скверный, негодный, слюнявый, сопливый, болтливый, паршивый эконом во всей Франции! (Возвращается к столу.)

Эконом (скорчившись на ларе). Да, сир. Для такого большого человека, как вы, оно, может, так и есть.

Роберт (оборачиваясь). Ага! Значит, это я виноват?

Эконом (подходит к нему; умоляюще). Нет, нет, сир! Как вы всегда переворачиваете мои самые невинные слова!

Роберт. Вот я тебе голову задом наперед переверну, посмей только еще раз мне ответить, что не можешь сам нести яйца!

Эконом (протестуя). Что вы, сир!.. Что вы!..

Роберт. Нет, не «что вы, сир, что вы», а «виноват, сир, виноват» — вот что ты должен мне ответить. Мои три берберийские курочки и еще черненькая — да они же самые ноские во всей Шампани. А ты приходишь и говоришь: «Нету яиц!» Кто их украл? Отвечай! Да поживей, пока я не вышиб тебя из замка за то, что ты плут и распродаешь мое добро ворам! Молока вчера тоже не хватило? Вспомни-ка!

Эконом (в отчаянии). Знаю, сир. Очень даже хорошо знаю. Молока нет. Яиц нет. Завтра и совсем ничего не будет.

Роберт. Ничего не будет? То есть ты все украдешь подчистую?

Эконом. Нет, сир. Никто ничего не украдет. Но на нас положено заклятье. Мы заколдованы.

Роберт. Ну, знаешь ли, пойди расскажи это кому-нибудь другому. Роберт де Бодрикур отправляет ведьм на костер, а воров на виселицу! Марш! Чтоб к полудню было вот здесь на столе четыре дюжины яиц и два галлона молока, а не то косточки целой у тебя не останется! Я тебе покажу, как меня дурачить. (Опять усаживается за стол, всем своим видом показывая, что разговор окончен.)

Эконом. Сир! Говорю вам: яиц нет и не будет — хоть убейте! — пока Дева стоит у ворот.

Роберт. Дева? Какая еще дева? Что ты городишь?

Эконом. Та самая, сир. Из Лотарингии. Из Домреми.

Роберт (вскакивает в ужасном гневе). Тридцать тысяч громов! Пятьдесят тысяч чертей! Значит, она еще здесь — эта девчонка, которая два дня назад имела нахальство требовать свидания со мной и которую я велел тебе отправить обратно к отцу с приказанием от моего имени задать ей хорошую трепку?

Эконом. Я ей говорил, чтобы она ушла. А она не уходит.

Роберт. Я не приказывал говорить ей, чтобы она ушла. Я приказал вышвырнуть ее вон. У тебя тут полсотни вооруженных солдат и десяток слуг — здоровенных парней, — кажется, есть кому выполнять мои приказания!.. Боятся они ее, что ли?

Эконом. Она такая упорная, сир.

Роберт (хватает его за шиворот). Упорная? А? Ну вот что! Сейчас я тебя спущу с лестницы.

Эконом. Ох, нет, сир! Не надо! Пожалуйста!

Роберт. Вот ты и помешай мне это сделать — при помощи своего упорства! Это ведь так легко. Любая девчонка может.

Эконом (беспомощно вися в его руках). Сир, сир! Вы же не избавитесь от нее тем, что выкинете вон меня.

Роберт отпускает его. Эконом шлепается на пол и, стоя на коленях посреди комнаты, покорно глядит на своего хозяина.

Видите ли, сир, вы куда упорней, чем я. Ну и она тоже.

Роберт. Я сильнее, чем ты, дурак!

Эконом. Нет, сир, не в этом дело. Просто у вас твердый характер. Телом она гораздо слабее нас — так, девчушка! — а все-таки мы не можем заставить ее уйти.

Роберт. Трусы несчастные! Вы ее боитесь.

Эконом (осторожно встает). Нет, сир. Мы боимся вас. А она вдохнула в нас мужество. Сама она, кажется, ничего на свете не боится. Может, вам удастся ее припугнуть?..

Роберт (свирепо). Может быть. Где она сейчас?

Эконом. Во дворе, сир; разговаривает с солдатами. Она постоянно разговаривает с солдатами, когда не молится.

Роберт. Молится! Ха! А ты и поверил, болван, что она молится! Знаю я этих девок, которые постоянно разговаривают с солдатами. Пусть-ка вот со мною поговорит! (Подходит к окну и гневно кричит.) Эй, ты!

Голос девушки (звонкий, сильный и грубоватый). Это вы меня, сир?

Роберт. Да. Тебя.

Голос. Это вы тут начальник?

Роберт. Да, нахалка ты этакая! Я тут начальник. (Обращаясь к солдатам, стоящим во дворе.) Покажите ей, как пройти. Да поторопите ее там пинком в спину! (Отходит от окна и опять усаживается за стол. Сидит с начальственным видом.)

Эконом (шепчет ему на ухо). Она хочет сама быть солдатом. Хочет, чтоб вы ей дали солдатскую одежу. И латы, сэр! И меч. Да, да! Честное слово! (Становится за спиной Роберта.)

В башенной двери появляется Жанна. Это крепкая деревенская девушка лет семнадцати или восемнадцати, одетая в приличное платье из красной материи. Лицо у нее не совсем обычное — широко расставленные глаза навыкате, какие часто бывают у людей с очень живым воображением, длинный, хорошей формы нос с широкими ноздрями, твердая складка полных губ — верхняя губа коротковата, и точеный упрямый подбородок. Она быстро идет прямо к столу, радуясь, что наконец добралась до Роберта, и не сомневаясь в благоприятном исходе свидания. Грозный вид Роберта ничуть ее не пугает и не останавливает. Голос у нее очень приятный, уверенный, легко принимающий ласковые, сердечные интонации; ей трудно противостоять.

Жанна (приседает). Доброе утро, капитан-начальник. Капитан, вы должны дать мне коня, латы и несколько солдат и отправить меня к дофину. Таковы веления моего господина.

Роберт (оскорблен). Веления твоего господина? А кто он такой, твой господин, скажи на милость? Пойди и скажи ему, что я не герцог какой-нибудь и не пэр, чтобы выполнять его приказания. Я дворянин Роберт де Бодрикур и приказания получаю только от короля.

Жанна (успокоительно). Да, да, капитан. Не беспокойтесь, тут все в порядке. Мой господин — это Царь Небесный.

Роберт. Фу! Да она помешанная. (Эконому) Ты чего, болван, мне сразу не сказал?

Эконом. Ох, сир, не сердите ее. Дайте ей, что она просит.

Жанна (нетерпеливо, но дружелюбно). Все сперва думают, что я помешанная, — пока я с ними не поговорю. Но понимаете, капитан, ведь это Господь Бог велит вам сделать то, что он вложил мне в душу.

Роберт. А по-моему, Господь Бог велит мне отослать тебя обратно к отцу, чтоб он посадил тебя под замок и выбил из тебя дурь. А? Что ты на это скажешь?

Жанна. Вам кажется, капитан, что вы так и сделаете, а на самом деле выйдет совсем иначе. Вот вы сказали, что не пустите меня к себе на глаза. Однако ж я тут.

Эконом (умоляюще). Да, сир. Сами видите, сир.

Роберт. Придержи язык, ты!

Эконом (смиренно). Слушаю, сир.

Роберт (Жанне, уже гораздо менее уверенным тоном). Это ты из того выводишь, что я согласился тебя повидать?

Жанна (нежно). Да, капитан.

Роберт (чувствуя, что почва уходит у него из-под ног, решительным жестом опускает оба кулака на стол и выпячивает грудь, стараясь этим прогнать нежеланное и слишком хорошо ему знакомое ощущение). Ладно. Слушай меня. Теперь я буду приказывать.

Жанна (деловито). Да, да, прикажите, капитан. Пожалуйста! Лошадь стоит шестнадцать франков. Это очень дорого. Но я выгадаю на латах: я достану старые у кого-нибудь из солдат, — ничего, подойдет, я же очень сильная. И мне совсем не нужны такие красивые латы, сделанные на заказ по мерке, как вот на вас. И провожатых много не потребуется: дофин даст мне все что нужно, чтобы я могла снять осаду с Орлеана.

Роберт (не помня себя от изумления). Снять осаду с Орлеана?!

Жанна (просто). Да, капитан. Господь Бог повелел мне это сделать. Троих солдат будет вполне достаточно, лишь бы это были порядочные люди и хорошо обращались со мной. Да кое-кто мне уже обещал — Полли, потом Джек и еще…

Роберт. Полли! Нахальная девчонка! Это ты господина Бертрана де Пуланжи смеешь называть Полли?!

Жанна. Все его так зовут. Все его друзья. Я и не знала, что у него есть другое имя. Потом Джек…

Роберт. Это, надо думать, господин Жан из Меца?..

Жанна. Да, капитан. Он самый. Джек охотно поедет. Он очень добрый и постоянно дает мне денег, чтобы я раздавала бедным. Жан Годсэв тоже, наверное, поедет, и лучник Дик, и еще их слуги — Жан из Онекура и Жюльен. Вам, капитан, не будет никаких хлопот, я уже все устроила. Вы только прикажите…

Роберт (глядит на нее, застыв от удивления). Ах, черт меня возьми!

Жанна (с невозмутимой ласковостью). О нет, капитан! Господь милосерд, а святая Екатерина и святая Маргарита, которые каждый день разговаривают со мной…

У Роберта рот открывается от изумления.

…заступятся за вас. Вы попадете в рай; и ваше имя всегда будут вспоминать, как имя первого человека, который мне помог.

Роберт (обращаясь к эконому; он все еще очень раздражен, но уже сбавил тон, так как ему пришла в голову новая мысль). Это правда — насчет господина де Пуланжи?

Эконом (живо). Сущая правда, сир. И насчет господина Жана из Меца тоже. Они оба готовы ехать с ней.

Роберт (задумчиво). Гм! (Подходит к окну и кричит во двор.) Эй, вы там! Пошлите ко мне господина де Пуланжи. (Оборачивается к Жанне.) Марш отсюда! Подожди во дворе.

Жанна (дарит его сияющей улыбкой). Хорошо, капитан. (Уходит.)

Роберт (эконому). Ты тоже проваливай, дурень безмозглый. Но не уходи далеко и приглядывай за нею. Я скоро опять ее позову.

Эконом. Да, да, сир, ради Бога! Подумайте об наших курочках, самых носких во всей Шампани. И еще…

Роберт. Ты лучше подумай о моем сапоге. И убери свой зад подальше.

Эконом поспешно удаляется и я дверях сталкивается с Бертраном де Пуланжи. Это французский дворянин, выполняющий в Вокулерском гарнизоне обязанности начальника стражи, флегматичный человек лет тридцати шести; вид у него рассеянный, как будто он вечно погружен в свои мысли; говорит, только когда к нему обращаются; в речи медлителен, но уж что сказал, на том стоит, — одним словом, полная противоположность самоуверенному, громогласному, внешне деспотическому, но по существу безвольному Роберту. Эконом уступает ему дорогу и исчезает.

Пуланжи отдает честь Роберту и стоит в дверях, руки по швам, ожидая приказаний.

Роберт (приветливо). Я вас позвал не по служебным делам, Полли. А так, для дружеской беседы. Садитесь. (Подцепляет ногой табуретку и вытаскивает из-под стола.)

Пуланжи, отбросив церемонии, заходит в комнату, ставит табурет между столом и окошком и не спеша усаживается. Роберт, присев на край стола, приступает к обещанной дружеской беседе.

Роберт. Слушайте, Полли. Я должен поговорить с вами, как отец.

Пуланжи на мгновение поднимает к нему задумчивый взгляд, но ничего не отвечает.

Роберт. Это насчет той девчонки, что вам так приглянулась. Ну так вот. Я видел ее. Я говорил с ней. Во-первых, она сумасшедшая. Ну, это неважно. Во-вторых, она не просто деревенская девка, она из зажиточной семьи. А это уже очень важно. Я этот народец хорошо знаю. В прошлом году ее отец приезжал сюда на судебное разбирательство как выборный от своей деревни. Там у себя он важная персона. Земледелец! Не то, конечно, что помещик — сам обрабатывает свой надел и тем живет. Ну а все-таки не простой крестьянин. Не просто пахарь. У него того и гляди найдется какой-нибудь двоюродный братец — судейский или из духовенства. Для нас с вами эти люди, понятно, — мелкая сошка. Но они способны при случае наделать кучу хлопот властям. То есть мне. Вам это, конечно, кажется очень просто — увезти девчонку, сманив обещанием доставить ее прямо к дофину. Но если вы ее загубите, мне-то неприятностей будет без счету. Тем более что я сеньор ее отца и, стало быть, обязан оказывать ей покровительство. Так вот что, Полли: дружба дружбой, а от девчонки держите руки подальше!

Пуланжи (веско, с нарочитой выразительностью). Для меня подумать так об этой девушке — это все равно что к самой Пресвятой Деве с подобными мыслями подойти!

Роберт (встает). Но послушайте! Она же говорит, что вы, и Джек, и Дик сами навязались к ней в провожатые. Ну а зачем, спрашивается? Не станете же вы меня уверять, будто всерьез принимаете ее сумасшедшую фантазию ехать к дофину? А?

Пуланжи (медленно). В этой девушке что-то есть. У нас в караульной такие есть сквернословы и похабники, что не дай Боже. Но ни разу никто не заикнулся о ней как о женщине. Они даже ругаться при ней перестали. Нет, в ней что-то есть. Есть что-то такое… Пожалуй, стоит попробовать.

Роберт. Да что вы, Полли! Опомнитесь! Здравым смыслом вы, положим, никогда не отличались. Но это уж слишком! (В негодовании отходит.)

Пуланжи (невозмутимо). А какой толк от здравого смысла? По здравому смыслу нам бы давно пора перейти на сторону бургундского герцога и английского короля. Они держат в руках половину Франции — до самой Луары, держат в руках Париж, держат в руках этот замок; сами знаете, что нам пришлось сдать его герцогу Бедфордскому и что вас здесь оставили только временно, на честном слове. Дофин сидит в Шиноне, как крыса в углу, — только что крыса дерется, а он и на это не способен. Мы даже не знаем, дофин ли он. Его мать говорит, что нет, — а кому же знать, как не ей. Подумайте только! Королева отрицает законнорожденность собственного сына!

Роберт. Очень понятно: она ведь выдала дочь за английского короля. Так можно ли ее осуждать?

Пуланжи. Я никого не осуждаю. Но из-за нее дофину окончательно крышка. Нечего закрывать на это глаза. Англичане возьмут Орлеан; Дюнуа не сможет их остановить.

Роберт. Побил же он англичан два года назад под Монтаржисом! Я тогда был с ним.

Пуланжи. Мало ли что было два года назад. Сейчас его солдаты запуганы. И творить чудеса он не умеет. А нас — это я твердо вам говорю, — нас спасти может только чудо.

Роберт. Чудеса, Полли, это очень мило. Беда только в том, что в наше время чудес не бывает.

Пуланжи. Раньше я тоже так думал. А теперь — не знаю… (Встает и в задумчивости отходит к окну.) Во всяком случае, положение сейчас такое, что пренебрегать ничем нельзя. А в этой девушке что-то есть.

Роберт. Ха! По-вашему, она может творить чудеса?

Пуланжи. По-моему, она сама вроде чуда. Так или иначе, это наша последняя карта. Лучше разыграть ее, чем просто сдаться. (Бродя по комнате, приближается к ходу в башню.)

Роберт (колеблясь). Вы правда так на нее надеетесь?

Пуланжи (оборачивается). А на что еще мы можем надеяться?

Роберт (подходит к нему). Послушайте, Полли. Будь вы на моем месте, допустили бы вы, чтобы этакая девчонка выманила у вас целых шестнадцать франков на лошадь?

Пуланжи. Я заплачу за лошадь.

Роберт. Вы!!

Пуланжи. Да. Я готов этим подкрепить свое мнение.

Роберт. Как! Рисковать шестнадцатью франками в такой неверной игре?

Пуланжи. Я не рискую.

Роберт. А что же?

Пуланжи. Иду наверняка. Ее речи и ее пламенная вера зажгли огонь и в моей душе.

Роберт (мысленно махнув на него рукой). Ф-фу-у! Вы сами ей под стать — такой же сумасшедший!

Пуланжи (упрямо). А нам сейчас как раз и нужны сумасшедшие. Здравомыслящие-то видите куда нас завели!

Роберт (нерешительность теперь уже явно берет верх над его наигранной самоуверенностью). Ох! Я же сам буду себя дураком считать, если соглашусь… Но раз вы так уверены…

Пуланжи. Я настолько уверен, что готов сам отвезти ее в Шинон, — если, конечно, вы мне не запретите.

Роберт. Ну, это уже нечестно! Вы хотите, чтобы я за все отвечал.

Пуланжи. Отвечать все равно будете вы, какое бы решение вы ни приняли.

Роберт. Да. В том-то и дело. Какое принять решение? Если бы вы знали, как мне все это неприятно… (Невольно старается оттянуть дело в неосознанной надежде, что Жанна решит за него.) Может, мне, еще раз с ней поговорить? А? Как вы считаете?..

Пуланжи (встает). Да. Поговорите. (Подходит к окну и зовет.) Жанна!

Голос Жанны. Что, Полли? Он согласился?

Пуланжи. Иди сюда. К нам. (Обернувшись к Роберту.) Мне уйти?

Роберт. Нет, нет! Оставайтесь. И поддержите меня.

Пуланжи садится на ларь. Роберт отходит к своему креслу, но не садится, а остается на ногах, для большей внушительности. Жанна вбегает радостная, спеша поделиться добрыми вестями.

Жанна. Джек заплатит половину за лошадь!

Роберт. Еще того не легче!.. (Падает в кресло, растеряв всю свою внушительность.)

Пуланжи (без улыбки). Сядь, Жанна.

Жанна (в смущении, поглядывая на Роберта). Можно?..

Роберт. Садись, коли тебе говорят.

Жанна делает реверанс и присаживается на табурет. Роберт старается скрыть свою растерянность под сугубо властной манерой.

Роберт. Как твое имя?

Жанна (словоохотливо). У нас в Лотарингии все меня звали Жанет. А тут, во Франции, я — Жанна. Солдаты зовут меня Девой.

Роберт. Как тебя по прозвищу?

Жанна. По прозвищу? А это что такое? Мой отец иногда называет себя д’Арк. Не знаю почему. Вы видели моего отца. Он…

Роберт. Да, да. Помню. Ты, кажется, из Домреми, в Лотарингии.

Жанна. Да. Но что из того? Мы же все говорим по-французски.

Роберт. Не спрашивай, а отвечай. Сколько тебе лет?

Жанна. Говорят, семнадцать. А может, и девятнадцать. Не помню.

Роберт. Что это ты тут рассказывала, будто святая Екатерина и святая Маргарита каждый день разговаривают с тобой?

Жанна. Разговаривают.

Роберт. А какие они собой?

Жанна (внезапно становится сдержанной и скупой на слова). Об этом я ничего вам не скажу. Мне не дозволено.

Роберт. Но ты их видишь, да? И они говорят с тобой, вот как я сейчас?

Жанна. Нет, не так. Совсем иначе. Я не могу объяснить. И вы не должны спрашивать меня о моих голосах.

Роберт. О каких еще голосах?

Жанна. Я слышу голоса, и они говорят мне, что я должна делать. Они от Бога.

Роберт. Они в твоем собственном воображении!

Жанна. Конечно. Господь всегда говорит с людьми через их воображение.

Пуланжи. Шах и мат!

Роберт. Ну это положим. (Жанне.) Так, значит, это Господь сказал, что ты должна снять осаду с Орлеана?

Жанна. И короновать дофина в Реймском соборе.

Роберт (поперхнувшись от изумления). Короновать доф… Ну и ну!..

Жанна. И выгнать англичан из Франции.

Роберт (саркастически). Может, еще что-нибудь?

Жанна (с очаровательной улыбкой). Нет, пока все. Спасибо.

Роберт. По-твоему, снять осаду с города так же легко, как загнать корову с пастбища? Ты думаешь, воевать — это так, пустяки, всякий может?

Жанна. Я думаю, это не так уж трудно, если Бог на твоей стороне и ты готов предать свою жизнь в его руки. Я видела много солдат; среди них есть такие… ну совсем простачки.

Роберт (мрачно). Простачки! А ты когда-нибудь видала, как дерутся английские солдаты?

Жанна. И они только люди. Господь создал их такими же, как и нас. Но он указал им, в какой стране жить и на каком языке говорить. И если они приходят к нам и пытаются говорить на нашем языке, то это против воли Божьей.

Роберт. Кто вбил тебе в голову такую чушь? Ты разве не знаешь, что солдат обязан подчиняться своему феодальному сеньору? Он его подданный, понимаешь? А уж кто этот сеньор — герцог ли бургундский, или король английский, или король французский, — это не его дело. И не твое тоже. При чем тут язык?

Жанна. Этого я никогда не пойму. Мы все подданные Царя Небесного, и он каждому даровал родину и родной язык и не велел менять их. Кабы не так, то убить англичанина в бою было бы смертным грехом, и вы, капитан, после смерти угодили бы прямо в ад. Нужно думать не о своих обязанностях перед феодальным сеньором, а о своих обязанностях перед Богом.

Пуланжи. Бросьте, Роберт, вы ее не переспорите. У нее на все готов ответ.

Роберт. Не переспорю?.. Ну это еще посмотрим. Клянусь святым Дени! (Жанне.) Мы не о Боге сейчас говорим, а о житейских делах. Слышала ты, что я тебя спросил? Видала ли ты когда-нибудь, как дерутся английские солдаты? Видала, как они грабят, жгут, обращают все в пустыню? Слыхала, что рассказывают об ихнем Черном Принце, который чернее самого сатаны? Или об отце английского короля?

Жанна. Ну, Роберт, не надо так бояться! Ведь…

Роберт. Иди ты к черту! Я не боюсь. И кто тебе позволил называть меня Робертом?

Жанна. Так вас окрестили в церкви во имя Господне. А прочие все имена не ваши, а вашего отца, или брата, или еще там чьи-нибудь.

Роберт. Ха!

Жанна. Послушайте, капитан, что я вам скажу. Как-то раз нам пришлось бежать в соседнюю деревню, потому что на Домреми напали английские солдаты. Потом они ушли, а троих раненых оставили. Я после хорошо с ними познакомилась, с этими тремя бедными годдэмами. Они и вполовину были не так сильны, как я.

Роберт. А ты знаешь, почему их называют годдэмами?

Жанна. Нет. Не знаю. Их все так зовут.

Роберт. Потому что они постоянно взывают к своему Богу и просят, чтобы он предал их души вечному проклятию. Вот что значит «годдэм» на их языке. Хороши молодчики, а?

Жанна. Господь их простит по своему милосердию, а когда они вернутся в ту страну, которую он для них создал и для которой он создал их, они опять будут вести себя, как добрые дети Господни. Я слыхала о Черном Принце. В ту минуту, когда он ступил на нашу землю, дьявол вселился в него и его самого обратил в злого демона. Но у себя дома, в стране, созданной для него Богом, он был хорошим человеком. Это всегда так. Если бы я, наперекор воле Божьей, отправилась в Англию, чтобы ее завоевать, и захотела там жить и говорить на их языке, в меня тоже вселился бы дьявол. И в старости я бы с ужасом вспоминала о своих преступлениях.

Роберт. Может, и так. Но чем больше чертей сидит в человеке, тем отчаяннее он дерется. Вот почему годдэмы возьмут Орлеан. И ты их не остановишь. Ни ты, ни десять тысяч таких, как ты.

Жанна. Одна тысяча таких, как я, может их остановить. Десять таких, как я, могут их остановить — если Господь будет на нашей стороне. (Порывисто встает, не в силах больше сидеть спокойно, и подходит к Роберту.) Вы не понимаете, капитан. Наших солдат всегда бьют, потому что они сражаются только ради спасения собственной шкуры. А самый простой способ ее спасти — это убежать. А наши рыцари думают только о том, какой выкуп они возьмут за пленных. Не убить врага, а содрать с него побольше денег — вот что у них на уме. Но я научу всех сражаться ради того, чтобы во Франции свершилась воля Божья. И тогда они, как овец, погонят бедных годдэмов. Вы с Полли доживете еще до того дня, когда на французской земле не останется ни одного английского солдата. И тогда во Франции будет только один король: не феодальный английский король, но, волею Божьей, король французов.

Роберт (обращаясь к Пуланжи). Знаете, Полли, все это, разумеется, страшный вздор. Но кто его знает: на солдат, может, и подействует, а? Хотя все, что мы до сих пор говорили, не прибавило им и крупицы мужества. Даже на дофина, пожалуй, подействует… А уж если она сумеет в него вдохнуть мужество, то, значит, и во всякого.

Пуланжи. По-моему, стоит попробовать. Хуже не будет. А по-вашему? В этой девушке что-то есть…

Роберт (повернувшись к Жанне). Ну, послушай теперь, что я тебе скажу. И (в отчаянии), ради Бога, не перебивай меня раньше, чем я соберусь с мыслями.

Жанна (садится на табурет, как благонравная школьница). Слушаю, капитан.

Роберт. Вот тебе мой приказ: ты немедленно отправишься в Шинон. Этот господин и трое его друзей будут тебя сопровождать.

Жанна (в восторге, молитвенно сложив руки). Капитан! У вас вокруг головы сияние, как у святого!

Пуланжи. А как она добьется, чтобы король ее принял?

Роберт (подозрительно смотрит вверх, в поисках ореола у себя над головой). Не знаю. Как она добилась, чтобы я ее принял? Если дофин ухитрится ее отшить, ну, значит, он далеко не такой растяпа, каким я его считал. (Встает.) Я пошлю ее в Шинон. И пусть она скажет, что я ее послал. А дальше что Бог даст. Я больше ничего не могу сделать.

Жанна. А латы? Можно мне надеть латы, капитан?

Роберт. Надевай что хочешь. Я умываю руки.

Жанна (не помня себя от радости). Идем, Полли! Скорее! (Выбегает.)

Роберт (пожимая руку де Пуланжи). Прощайте, Полли. Я взял на себя большой риск. Не всякий бы решился. Но вы правы: в этой девушке что-то есть.

Пуланжи. Да. В ней что-то есть. Прощайте. (Уходит.)

Роберт стоит неподвижно, почесывая затылок. Его все еще терзают сомнения, не свалял ли он дурака, позволив помешанной девчонке, к тому же низкого происхождения, обвести себя вокруг пальца. Наконец он медленно возвращается к столу.

Вбегает эконом с корзинкой в руках.

Эконом. Сир! Сир!

Роберт. Ну что еще?

Эконом. Сир! Куры несутся как сумасшедшие! Пять дюжин яиц!

Роберт (вздрагивает и застывает на месте; крестится, шепчет побелевшими губами). Господи помилуй! (Вслух упавшим голосом.) Воистину она послана Богом!

Картина вторая

Шинон в Турени. Часть тронной залы в королевском замке, отделенная занавесом от остального помещения и служащая приемной. Архиепископ Реймский и сеньор Ла Тремуй, советник и шамбеллан короля, поджидают выхода дофина. Архиепископ — упитанный человек лет пятидесяти; это типичный политик, и в его внешности нет ничего от духовного звания, кроме важной осанки. Ла Тремуй держится с предельным высокомерием, надутый, толстый — настоящий винный бурдюк… Направо от них дверь в стене. Действие происходит под вечер, 8 марта 1429 года. Архиепископ стоит спокойно, сохраняя достоинство. Ла Тремуй, слева от него, ходит взад и вперед в крайнем раздражении.

Ла Тремуй. О чем он думает, этот дофин? Столько времени заставляет нас ждать! Не знаю, как у вас хватает терпения стоять словно каменный идол!

Архиепископ. Я, видите ли, архиепископ. А всякому архиепископу весьма часто приходится изображать собой нечто вроде идола. Во всяком случае, нам уже в привычку стоять неподвижно и молча терпеть глупые речи. Кроме того, мой дорогой шамбеллан, это королевское право дофина — заставлять себя ждать.

Ла Тремуй. Черт бы его побрал, этого дофина! Простите меня, монсеньор, за то, что я оскорбляю ваш слух такими словами! Но знаете, сколько он мне должен?

Архиепископ. Не сомневаюсь, что больше, чем мне, ибо вы гораздо богаче меня. Надо полагать, он вытянул у вас все, что вы могли дать. Со мною он именно так поступил.

Ла Тремуй. Двадцать семь тысяч в последний раз с меня сорвал. Двадцать семь тысяч!

Архиепископ. Куда все это идет? Одевается он в такое старье — я бы деревенскому попу постыдился на бедность подарить!

Ла Тремуй. А на обед ест цыпленка да ломтик баранины. Занял у меня все до последнего гроша — и даже не видать, куда это девалось!

В дверях появляется паж.

Наконец-то!

Паж. Нет, монсеньор. Это еще не его величество. Господин де Рэ прибыл ко двору.

Ла Тремуй. Синяя Борода! Чего ради докладывать об этом молокососе?

Паж. С ним капитан Ла Гир. Там у них, кажется, что-то случилось.

Входит Жиль де Рэ — молодой человек лет двадцати пяти, щеголеватый и самоуверенный, с курчавой бородкой, выкрашенной в синий цвет, что является немалой вольностью при дворе, где все ходят гладко выбритые, по тогдашнему обычаю. Очень старается быть любезным, но природной веселости в нем нет, и он производит скорее неприятное впечатление. Одиннадцатью годами позже, когда он дерзнул бросить вызов церкви, его обвинили в том, что он удовольствия ради совершил омерзительные жестокости, и приговорили к повешению. Но сейчас тень виселицы его еще не коснулась. Он весело подходит к архиепископу. Паж удаляется.

Синяя Борода. Ваш верный агнец, архиепископ! Добрый день, шамбеллан! Знаете, что случилось с Ла Гиром?

Ла Тремуй. Доругался до родимчика, что ли?

Синяя Борода. Как раз наоборот. Сквернослов Франк — во всей Турени только он один может переплюнуть Ла Гира по части ругани. Так вот этому самому сквернослову Франку какой-то солдат сегодня сказал, что нехорошо, мол, ругаться, когда стоишь на краю могилы.

Архиепископ. И во всякое другое время тоже. А разве сквернослов Франк стоял на краю могилы?

Синяя Борода. Представьте себе, да. Он только что свалился в колодец и утонул. Это такого страха нагнало на Ла Гира — опомниться не может.

Входит капитан Ла Гир. Это старый вояка, чуждый придворного лоска; его речь и манеры сильно отдают казармой.

Синяя Борода. Я уже все рассказал шамбеллану и архиепископу. Архиепископ говорит, что вы погибли бесповоротно.

Ла Гир (проходит мимо Синей Бороды и останавливается между архиепископом и Ла Тремуем). Тут нечему смеяться. Дело обстоит еще хуже, чем мы думали. Это был не солдат, а святая, переодетая солдатом.

Архиепископ, Шамбеллан, Синяя Борода (все вместе). Святая?!

Ла Гир. Да святая. Она всего с пятью провожатыми пробралась сюда из Шампани. Их путь лежал по таким местам, где кишмя кишат бургундцы, годдэмы, беглые солдаты, разбойники и еще Бог весть какой сброд, — а они за все время не встретили ни живой души, кроме местных крестьян. Я знаю одного из тех, кто ее сопровождал, — де Пуланжи. Он говорит, что она святая. И ежели я теперь хоть когда-нибудь произнесу хоть одно слово божбы или ругани — да чтоб мне провалиться в самое пекло! Да чтоб меня черти изжарили на адском пламени!

Архиепископ. Весьма благочестивое начало, капитан.

Синяя Борода и Ла Тремуй хохочут. Снова появляется паж.

Паж. Его высочество!

Все принимают почтительные позы, но делают это весьма лениво и небрежно. Откинув занавес, входит дофин с какой-то бумагой в руках. В сущности, он и сейчас уже король — Карл VII, ибо он унаследовал престол после смерти отца; но он еще не коронован. Это молодой человек двадцати шести лет, хилый и некрасивый; мода того времени, требующая, чтобы лица мужчин были гладко выбриты, а волосы — как у мужчин, так и у женщин — все до одного запрятаны под головной убор, делает его наружность еще более непривлекательной. У него узкие и слишком близко посаженные глаза, длинный мясистый нос, нависающий над толстой и короткой верхней губой, и выражение — как у щенка, который уже привык, что все его бьют, однако не желает ни покориться, ни исправиться. Но в нем нет ни пошлости, ни глупости; вдобавок ему присущ своего рода дерзкий юмор и в споре он умеет постоять за себя. Сейчас он радостно возбужден, как ребенок, которому только что подарили игрушку. Подходит к архиепископу слева. Синяя Борода и Ла Гир отступают вглубь, к занавесу.

Карл. Архиепископ! Знаете, что Роберт де Бодрикур прислал мне из Вокулера?

Архиепископ (презрительно). Меня не интересуют ваши новые игрушки.

Карл (возмущенно). Это не игрушка. (Надувшись.) Но, пожалуйста, не интересуйтесь. Обойдусь и без вашего интереса.

Архиепископ. Ваше высочество проявляет совершенно излишнюю обидчивость.

Карл. А у вас всегда поучение наготове? Очень вам благодарен.

Ла Тремуй (грубо). Ну! Довольно брюзжать! Что это у вас в руках?

Карл. А вам что за дело?

Ла Тремуй. А это как раз и есть мое дело — знать, чем вы пересылаетесь с гарнизоном Вокулера. (Выхватывает у него листок и начинает читать по складам, водя по бумаге пальцем.)

Карл (обижен). Вы считаете, что со мной можно как угодно разговаривать, потому что я вам должен и потому что я не умею драться? Но в моих жилах течет королевская кровь.

Архиепископ. Даже и это, ваше высочество, уже подвергалось сомнению. Вы как-то мало похожи на внука Карла Мудрого.

Карл. Довольно уже поминать о моем дедушке. Не желаю больше про него слушать. Он был до того мудр, что весь семейный запас мудрости забрал себе — на пять поколений вперед. По его милости я и вышел таким жалким дурачком, что все мне грубят и перечат.

Архиепископ. Благоволите сдерживать себя, ваше высочество. Подобная вспыльчивость неприлична вашему сану.

Карл. Ах, еще поучение? Спасибо! Жаль только, что святые и ангелы к вам-то вот не приходят, хоть вы и архиепископ.

Архиепископ. Это вы о чем, собственно?

Карл. Ага! Спросите вон того грубияна. (Показывает на Ла Тремуя.)

Ла Тремуй (в ярости). Молчать! Слышите?..

Карл. Слышу, слышу. Нечего орать на весь замок. Вы лучше пойдите на англичан покричите да разбейте мне их хоть разок в бою!

Ла Тремуй (замахиваясь на него). Ах ты дрянной…

Карл (прячется за архиепископа). Не смейте поднимать на меня руку! Это государственная измена.

Ла Гир. Легче, герцог! Легче!

Архиепископ (решительно). Тихо! Тихо! Так не годится. Господин шамбеллан! Прошу вас! Надо все-таки соблюдать какой-то порядок. (Дофину.) А вы, ваше высочество, если уж не умеете управлять своим королевством, то постарайтесь по крайней мере управлять самим собой!

Карл. Опять поучение? Благодарю.

Ла Тремуй (протягивая бумагу архиепископу). Прочитайте, ради Бога, вслух это окаянное письмо. Он меня так взбесил, что кровь бросилась мне в голову. Ни одной буквы не могу разобрать.

Карл (возвращается на прежнее место и заглядывает в бумагу через плечо Ла Тремуя). Давайте, я прочитаю. Я-то умею читать.

Ла Тремуй (с величайшим презрением, ничуть не обижаясь на подпущенную ему шпильку). Ну, да вы только на это и годитесь — читать! Что там написано, архиепископ?

Архиепископ. Я ожидал больше здравого смысла от де Бодрикура. Он, видите ли, посылает нам какую-то помешанную деревенскую девчонку…

Карл (перебивает его). Нет. Он посылает нам святую, ангела. И она пришла ко мне, ко мне — своему королю, а не к вам, архиепископ, несмотря на всю вашу святость. Она-то понимает, что значит королевская кровь, не то что вы все. (С важностью отходит к занавесу и останавливается между Синей Бородой и Ла Гиром.)

Архиепископ. Вам не разрешат видеться с этой помешанной…

Карл (оборачиваясь). Но я король. И я хочу ее видеть.

Ла Тремуй (грубо). Ну так ей не разрешат с вами видеться. Вот!

Карл. А я вам говорю, что я хочу. И на этот раз будет по-моему, а не по-вашему!

Синяя Борода (смеясь над ним). Ах, какой непослушный мальчик! Что сказал бы ваш мудрый дедушка!

Карл. Вот и видно, какой вы невежда, Синяя Борода. У моего деда была святая, которая поднималась в воздух во время молитвы, и она все ему рассказывала, что он хотел узнать. А у моего покойного отца было целых две святых — Мария из Майе и Гасконка из Авиньона. Это особый дар в нашей семье. И как вы там хотите, а у меня тоже будет своя святая.

Архиепископ. Эта девка не святая. Ее даже порядочной женщиной нельзя назвать. Она не хочет носить платье, приличествующее ее полу. Одевается как солдат и разъезжает верхом вместе с солдатами. Так можно ли такую особу допустить ко двору его высочества?

Ла Гир. Стойте! (Идет к архиепископу.) Вы говорите, девушка в латах, одетая как воин?

Архиепископ. Да, так ее описывает де Бодрикур.

Ла Гир. Клянусь всеми чертями ада… Ох, что я говорю! Господи, прости меня, грешного! Клянусь Пресвятой Девой и всеми ангелами небесными — да ведь это же она! Та самая святая, что поразила смертью сквернослова Франка за то, что он ругался.

Карл (торжествуя). Ага! Ага! Видите! Чудо!

Ла Гир. Она нас всех может поразить смертью, если мы станем ей перечить! Ради всего святого, архиепископ, будьте осторожней!

Архиепископ (строго). Вздор! Никого она не поражала. Просто пьяный распутник, которого уже сто раз корили за ругань, упал в колодец и утонул. Чистейшее совпадение.

Ла Гир. Я не знаю, что такое совпадение. Я знаю только, что этот человек умер и что она предрекла ему, что он умрет.

Архиепископ. Мы все умрем, капитан.

Ла Гир (крестится). Сохрани Бог! (Отходит и больше не принимает участия в разговоре.)

Синяя Борода. Можно очень легко испытать, святая она или нет. Давайте сделаем так: я стану на место дофина, и посмотрим, поддастся ли она на обман.

Карл. Хорошо, я согласен. Если она не распознает королевскую кровь, я не стану ее слушать.

Архиепископ. Только Церковь может сопричислить человека к святым. И пусть де Бодрикур не суется не в свое дело. Как он смеет присваивать себе права, принадлежащие его духовному пастырю? Я сказал: девушка сюда допущена не будет.

Синяя Борода. Но послушайте, архиепископ…

Архиепископ (сурово). Я говорю от имени святой Церкви. (Дофину.) Дерзнете ли вы ослушаться?

Карл (оробел, но не может скрыть недовольства). Конечно, если вы мне грозите отлучением, так что я могу на это сказать. Но вы не дочитали до конца. Де Бодрикур пишет, что она обещает снять осаду с Орлеана и разбить англичан.

Ла Тремуй. Чепуха!

Карл. Ах, чепуха? А почему же вы сами не отобьете Орлеан, а? Вы такой мастер задираться!

Ла Тремуй (в ярости). Не смейте колоть мне этим глаза! Слышите? Я столько воевал, сколько вы за всю жизнь не навоюете. Но я же не могу везде поспеть.

Карл. А-а! Ну, теперь понятно.

Синяя Борода (выступает вперед, между архиепископом и Карлом). Послушайте. Во главе войск под Орлеаном стоит Дюнуа. Отважный Дюнуа, пленительный Дюнуа, непобедимый Дюнуа, любимец дам, красавчик Незаконнорожденный! Можно ли поверить, что деревенская девушка сделает то, что ему не удается?

Карл. Ну а почему же он не снимет осаду?

Ла Гир. Ветер мешает.

Синяя Борода. Как может ветер ему помешать? Орлеан не на море.

Ла Гир. Он на реке Луаре. И англичане захватили мост. Чтобы зайти им в тыл, надо погрузить солдат на лодки и подняться вверх по течению. Ну и Дюнуа не может это сделать, потому что ветер противный. Ему уж надоело платить за молебны: попы там день и ночь молятся, чтобы подул западный ветер. И все без толку. Тут нужно чудо. Вы говорите, то, что эта девушка сделала со сквернословом Франком, — это, мол, не чудо. Ну и пускай! Но это прикончило Франка. Если она переменит ветер для Дюнуа — может, и это не будет чудом; но это прикончит англичан. Так отчего не попробовать?

Архиепископ (который тем временем дочитал письмо до конца и, видимо, призадумался). Да, судя по всему, она произвела большое впечатление на де Бодрикура.

Ла Гир. Де Бодрикур набитый дурак, но он солдат. И если он поверил, что эта девушка может разбить англичан, то и вся армия тоже поверит.

Ла Тремуй (архиепископу, который, видимо, колеблется). А, да ну их, пусть делают как хотят. Орлеан все равно сдастся. Солдаты сами его сдадут, вопреки всем стараниям Дюнуа, если только их что-нибудь не раззадорит.

Архиепископ. Девушка должна быть опрошена представителями Церкви, прежде чем будет принято какое-либо решение. Но поелику его высочество желает ее видеть — допустить ее ко двору.

Ла Гир. Пойду отыщу ее и скажу. (Уходит.)

Карл. А вы идите со мной, Синяя Борода. Устроим так, чтобы она меня не узнала. Вы притворитесь, будто вы — это я. (Уходит за занавес.)

Синяя Борода. Будто я — этот мозгляк! О Господи! (Уходит за дофином.)

Ла Тремуй. Интересно, узнает она его?

Архиепископ. Конечно, узнает.

Ла Тремуй. Почему?

Архиепископ. Потому что ей будет известно то, что известно всем в Шиноне: что из всех, кого она увидит в зале, самый уродливый и хуже всех одетый — это и есть дофин и что мужчина с синей бородой — это Жиль де Рэ.

Ла Тремуй. О! Об этом я и не подумал.

Архиепископ. Вы не так привычны к чудесам, как я. Это более по моей части.

Ла Тремуй (изумлен и несколько шокирован). Но тогда, значит, это будет совсем не чудо?

Архиепископ (невозмутимо). Почему же?

Ла Тремуй. Но позвольте!.. Что такое чудо?

Архиепископ. Чудо, мой друг, — это событие, которое рождает веру. В этом самая сущность и назначение чудес. Тем, кто их видит, они могут казаться весьма удивительными, а тем, кто их творит, весьма простыми. Но это не важно. Если они укрепляют или порождают веру — это истинные чудеса.

Ла Тремуй. Даже если это сплошной обман?

Архиепископ. Обман утверждает ложь. Событие, рождающее веру, утверждает истину. Стало быть, оно не обман, а чудо.

Ла Тремуй (смущенно почесывает затылок). Н-да! Ну, вы архиепископ, вам лучше знать. А на мой взгляд, тут что-то неладно. Но я не духовный, этих дел не понимаю.

Архиепископ. Вы не духовный, но вы дипломат и воин. Удалось бы вам заставить наших граждан платить военные налоги или наших солдат жертвовать жизнью, если бы они видели то, что происходит на самом деле, а не только то, что им кажется?

Ла Тремуй. Ну нет, клянусь святым Дени! Один только день — и все бы вверх тормашками перевернулось.

Архиепископ. Разве так трудно растолковать им истинное положение вещей?

Ла Тремуй. Да что вы! Они бы просто не поверили.

Архиепископ. Вот именно. Церковь тоже должна управлять людьми ради блага их душ, — как вы управляете ими ради их телесного блага. И стало быть, Церковь должна делать то же самое, что делаете вы: укреплять их веру поэзией.

Ла Тремуй. Поэзией! Я бы сказал, небылицами!

Архиепископ. И были бы не правы, друг мой. Притча не становится небылицей оттого, что в ней описаны события, которых никогда не было. Чудо не становится обманом оттого, что иногда — я не говорю всегда — за ним скрыто какое-нибудь очень простое и невинное ухищрение, с помощью которого пастырь укрепляет веру своей паствы. Когда эта девушка отыщет дофина в толпе придворных, для меня это не будет чудом, потому что я буду знать, как это вышло, — и моя вера от этого не возрастет. Но для других, если они ощутят трепет от прикосновения тайны и забудут о том, что они прах земной, и слава Господня воссияет над ними, — для них это будет чудом, благодатным чудом. И вот увидите, девушка сама будет потрясена больше всех. Она забудет, как это на самом деле у нее получилось. Может быть, и вы забудете.

Ла Тремуй. Хотел бы я знать, где в вас кончается Богом поставленный архиепископ и где начинается самая хитрая лисица во всей Турени! Ну ладно, идемте, а то как бы не опоздать. Чудо или не чудо, а поглядеть будет занятно.

Архиепископ (удерживая его на минуту). Не думайте, что я так уж люблю ходить кривыми путями. Сейчас новый дух рождается в людях; мы на заре иной, более свободной эпохи. Будь я простой монах, которому не нужно никем управлять, я бы в поисках душевного мира охотнее обратился к Аристотелю и Пифагору, чем к святым со всеми их чудесами.

Ла Тремуй. А кто такой Пифагор?

Архиепископ. Мудрец, который утверждал, что земля кругла и что она обращается вокруг солнца.

Ла Тремуй. Вот дурак-то! Глаз у него, что ли, не было?

Уходят за занавес. И почти тотчас занавес раздвигается: видна тронная зала и собравшиеся в ней придворные. Направо, на возвышении, два трона. Перед левым троном в театральной позе стоит Синяя Борода, изображая короля; он явно наслаждается придуманной потехой, так же как и все придворные. Позади возвышения задернутая занавесом арка, но главные двери, возле которых стоят вооруженные телохранители, находятся напротив, через залу; от них к возвышению оставлен свободный проход, вдоль которого выстроились придворные. Карл стоит в одном ряду с прочими, примерно на середине залы. Справа от него Ла Гир; слева, ближе к возвышению, архиепископ. По другую сторону от возвышения стоит Ла Тремуй. На правом троне сидит герцогиня Ла Тремуй, изображая королеву; возле нее, позади архиепископа, — группа придворных дам. Придворные все оживленно болтают. В зале стоит такой шум, что никто не замечает появления пажа.

Паж (возглашает). Герцог…

Никто не слушает.

Паж. Герцог…

Болтовня продолжается. Возмущенный тем, что ему не удается их перекричать, паж выхватывает алебарду у ближайшего к нему телохранителя и с силой ударяет в пол. Болтовня стихает; все молча смотрят на него.

Паж. Внимание! (Отдает алебарду телохранителю.) Герцог Вандомский имеет честь представить его величеству Жанну, именуемую Девой.

Карл (прикладывает палец к губам). Тсс! (Прячется за спину рядом стоящего придворного и украдкой выглядывает через плечо, стараясь рассмотреть, что происходит.)

Синяя Борода (величественно). Пусть приблизится к трону.

Жанну вводят. Она одета как солдат; волосы подстрижены и густыми прядями обрамляют лицо. Смущенный и безгласный герцог Вандомский ведет ее за руку по проходу, но она выдергивает у него руку, останавливается и с живостью оглядывается, ища дофина.

Герцогиня (придворной даме, стоящей поближе). Смотрите! Волосы-то!

Все придворные дамы разражаются смехом.

Синяя Борода (еле удерживаясь от смеха, укоризненно машет на них рукой). Тсс! Тсс! Дорогие дамы!..

Жанна (ничуть не смутившись). Я их так ношу, потому что я солдат. Где дофин? (Подходит к возвышению.)

Смешки в толпе придворных.

Синяя Борода (милостиво). Ты стоишь перед лицом дофина.

Жанна с сомнением останавливает взор на нем; тщательно разглядывает его с головы до ног. Молчание. Все смотрят на нее. Затем губы ее морщит улыбка.

Жанна. Брось, Синяя Борода!.. Полно меня дурачить! Где дофин?

Все хохочут. Жиль, разводя руками в знак того, что признает себя побежденным, присоединяется к общему смеху и спрыгивает с возвышения позади Ла Тремуя. Жанна, теперь уже открыто усмехаясь, поворачивается, оглядывает придворных и вдруг, нырнув в их толпу, вытаскивает Карла за руку.

Жанна (отпускает его и приседает). Милый, благородный дофин, я послана к вам, чтобы прогнать англичан от Орлеана, выгнать их из Франции и короновать вас в Реймском соборе, где короновались все законные короли Франции.

Карл (торжествуя, придворным). Что, видали? Она узнала королевскую кровь. Кто теперь посмеет сказать, что я не сын моего отца? (Жанне.) Но если ты хочешь, чтобы я короновался в Реймсе, так это не со мной надо говорить, а вот — с архиепископом.

Жанна (быстро оборачивается, глубоко взволнованная). О монсеньор! (Падает перед епископом на колени и склоняет голову; не смея поднять на него глаза.) Монсеньор! Я только простая деревенская девушка, а на вас почиет благодать, и сам Господь Бог осенил вас своею славой! Но вы ведь не откажете мне в милости — коснуться меня рукой и дать мне свое благословение?

Синяя Борода (шепчет на ухо Ла Тремую). Покраснел, старая лисица! Каково, а?

Ла Тремуй. Еще одно чудо!

Архиепископ (кладет руку на голову Жанны; он, видимо, тронут). Дитя! Ты влюблена в религию.

Жанна (удивленно смотрит на него). Да?.. Я никогда об этом не думала. А разве в этом есть что-нибудь дурное?

Архиепископ. Дурного в этом ничего нет, дитя мое, но есть опасность.

Жанна (встает; лицо ее сияет такой беззаботной радостью, что кажется — оно озарено солнцем). Ну, опасность есть везде, только на небе ее нету. О монсеньор, вы вдохнули в меня такую силу, такое мужество!.. Как это, должно быть, чудесно — быть архиепископом!

Придворные ухмыляются, слышно даже хихиканье.

Архиепископ (обиженно выпрямляется). Господа! Вера этой девушки — живой укор вашему легкомыслию. Я недостойный раб Божий, но ваша веселость — смертный грех!

Лица у всех вытягиваются. Молчание.

Синяя Борода. Монсеньор, мы смеялись над ней, а не над вами.

Архиепископ. Как? Не над моей недостойностью, а над ее верой? Жиль де Рэ! Эта девушка предрекла нечестивцу, что он погибнет во грехах на дне колодца…

Жанна (в тревоге). Нет! Нет!

Архиепископ (жестом приказывает ей молчать). А я предрекаю вам, что вы умрете без покаяния на виселице, если не научитесь вовремя соображать, когда нужно смеяться, а когда молиться!

Синяя Борода. Монсеньор, ваши упреки справедливы. Я виноват. Прошу прощения! Но если вы пророчите мне виселицу, так я уж никогда не смогу противиться соблазну, потому что всякий раз буду думать: а не все ли равно, больше ли грехов, меньше ли? Конец-то один!

Слыша это, придворные приободряются. Опять раздаются смешки.

Жанна (возмущенно). Пустой ты малый, Синяя Борода! И это с твоей стороны большое нахальство — так отвечать архиепископу!

Ла Гир (хохочет, очень довольный). Вот это сказала — как припечатала! Молодец, девушка!

Жанна (нетерпеливо, архиепископу). Монсеньор, сделайте милость, прогоните всех этих дураков, чтобы мне с глазу на глаз поговорить с дофином!

Ла Гир (добродушно). Я умею понимать намеки. (Отдает честь, поворачивается на каблуках и уходит.)

Архиепископ. Пойдемте, господа. Дева пришла к нам с благословения Божия; ей должно повиноваться.

Придворные уходят — кто под арку, кто в противоположные двери. Архиепископ идет через залу к главным дверям в сопровождении герцогини и Ла Тремуя. Когда он проходит мимо Жанны, та падает на колени и с жаром целует подол его мантии. Архиепископ качает головой, не одобряя такого чрезмерного проявления чувств, высвобождает полу из ее рук и уходит. Жанна остается стоять на коленях, загораживая дорогу герцогине.

Герцогиня (холодно). Разрешите пройти?

Жанна (поспешно встает и отступает в сторону). Простите, сударыня. Виновата.

Герцогиня проходит.

(Смотрит ей вслед, потом шепчет дофину.) Это кто, королева?

Карл. Нет. Но она считает, что да.

Жанна (опять глядя вслед герцогине). Ух ты!

В этом возгласе изумления, исторгнутом у Жанны видом столь пышно разряженной дамы, звучат не совсем лестные для последней нотки.

Ла Тремуй (очень сердито). Я попросил бы ваше высочество не насмехаться над моей женой. (Уходит.)

Остальные уже все успели уйти.

Жанна (дофину). А этот медведище — он кто?

Карл. Герцог Ла Тремуй.

Жанна. А что он делает?

Карл. Прикидывается, будто командует армией. А когда я нахожу себе друга — кого-нибудь, кто мне по сердцу, он его убивает.

Жанна. Зачем же ты ему позволяешь?

Карл (нервно переходит в тронный конец залы, пытаясь ускользнуть от магнетического воздействия Жанны). А как я ему не позволю? Он, видала, какой грубиян? Они все грубияны.

Жанна. Трусишь?

Карл. Да. Трушу. Только, пожалуйста, без нравоучений. Отвага — это, знаешь ли, очень хорошо для этих верзил в железных латах и с мечом у пояса. А я в таких латах пяти минут не выстою и меча такого даже поднять не могу. Им-то что, этим здоровякам с зычным голосом и драчливым нравом! Они любят сражаться: когда они не сражаются, их одурь берет. А я человек спокойный и разумный, я совсем не хочу убивать людей, я хочу только, чтобы меня не трогали и не мешали жить, как мне нравится. Я не просил, чтобы меня делали королем, мне это силком навязали. Так что если ты намерена возгласить: «Сын Людовика Святого, опояшись мечом своих предков и веди нас к победе!» — то я одно тебе посоветую: не утруждайся! Потому что я все равно ничего этого не могу. Я не так устроен, вот и все. И конец разговору.

Жанна (решительно и властно). Глупости! Вначале со всяким так бывает. Это ничего. Я вдохну в тебя мужество.

Карл. Но я не хочу, чтобы в меня вдыхали мужество. Я хочу спать в удобной кровати и не ждать каждую минуту, что меня убьют или изувечат. Ты лучше в других вдыхай мужество, и пусть себе дерутся сколько их душе угодно. А меня оставь в покое.

Жанна. Нельзя, Чарли. Ты должен выполнить дело, которое возложил на тебя Господь. Если ты не будешь королем, ты будешь нищим, — ведь больше ты ни на что не годишься. Ты лучше сядь-ка на трон, а я на тебя погляжу. Давно мне этого хотелось.

Карл. Какой толк сидеть на троне, когда приказания отдают другие? Но раз тебе так хочется… (садится на трон; зрелище получается довольно жалкое) то вот тебе твой горемыка король! Любуйся.

Жанна. Ты еще не король, дружочек. Ты только дофин. И пусть тебе не морочат голову. Нечего выдавать кукушку за ястреба. Я знаю народ — настоящий народ, тот, что выращивает для тебя хлеб, — и я тебе говорю, народ только тогда будет считать тебя законным королем, когда святое миро коснется твоих волос и сам ты будешь посвящен и коронован в Реймском соборе. Да, и еще, Чарли: тебе надо приодеться. Почему королева за тобой не смотрит?

Карл. У нас нет денег. А что есть, то она все тратит на свои наряды. Да и я люблю, когда она хорошо одета. А мне все равно, что ни носить. Как ни наряжай — красивей не стану.

Жанна. В тебе есть кое-что хорошее, Чарли. Но это еще не то, что нужно королю.

Карл. А вот увидим. Я не так глуп, как, может быть, кажусь. Соображать умею. И я тебе говорю: один хороший договор важнее, чем десять победоносных сражений. Эти вояки прогадывают на договорах все, что выигрывают в бою. Вот когда у нас с англичанами дойдет до заключения договора, уж тут-то мы их околпачим, — потому что они больше способны драться, чем шевелить мозгами.

Жанна. Если англичане победят, они сами напишут этот договор, — и горе тогда бедной Франции! Нет, Чарли, хочешь не хочешь, а выходит: надо тебе сражаться. Я начну, чтобы тебе потом было легче. Тут уж надо в обе руки взять свое мужество да и креститься обеими руками — молить Бога о поддержке.

Карл (спускается с трона и опять переходит в другой конец залы, отступая перед ее властным напором). Ах, да будет тебе про Бога и про молитвы! Не выношу людей, которые вечно молятся. Как будто мало того, что приходится высиживать положенные часы!

Жанна (с состраданием). Бедное дитя, ты, значит, никогда за всю жизнь не молился по-настоящему. Придется мне учить тебя с самого начала.

Карл. Я не дитя, я взрослый мужчина и отец семейства, и не желаю, чтобы меня еще чему-то учили!

Жанна. Да, правда, у тебя ведь есть маленький сыночек. Он будет королем, когда ты умрешь. Людовик Одиннадцатый! Разве ты не хочешь сражаться за него?

Карл. Нет, не хочу. Отвратительный мальчишка! Ненавидит меня. Он всех ненавидит, злющий чертенок! Терпеть не могу детей. Не хочу быть отцом и не хочу быть сыном, — особенно сыном Людовика Святого. И не хочу совершать никаких подвигов, о которых вы все так любите разглагольствовать. Хочу быть таким, как я есть, — и больше ничего. Неужели ты не можешь оставить меня в покое и думать о своих делах, а не о моих?!

Жанна (опять с глубоким презрением). Думать о своих делах — это все равно что думать о своем теле, — самый верный способ расхвораться. В чем мое дело? Помогать матери по дому. А твое? Играть с комнатными собачками и сосать леденцы. Куда как хорошо! Нет, мы посланы на землю, чтобы творить божье дело, а не свои собственные делишки. Я пришла возвестить тебе веление Господне, и ты должен выслушать, хотя бы сердце у тебя разорвалось от страха.

Карл. Не хочу слушать никаких велений. Но, может быть, ты умеешь раскрывать тайны? Или исцелять болезни? Или превращать свинец в золото? Или еще что-нибудь в этом роде?

Жанна. Я могу превратить тебя в короля в Реймском соборе, — а это, сдается мне, будет чудо не из легких.

Карл. Если мы отправимся в Реймс и будем устраивать коронацию, Анна захочет нашить новых платьев, а у меня нет денег. Не надо мне ничего; пусть буду как есть.

Жанна. Как есть! А что ты есть? Ничто. Хуже самого бедного пастушонка, который пасет овец у нас в деревне. Твои собственные земли и то не твои, пока ты не коронован.

Карл. Они все равно не будут мои. Поможет мне коронация заплатить по закладным? Я все до последнего акра заложил архиепископу и тому жирному грубияну. Я даже Синей Бороде должен.

Жанна (строго). Чарли! Я сама от земли и всю силу нажила тем, что работала на земле. И я тебе говорю: твои земли даны тебе для того, чтобы ты справедливо управлял ими и поддерживал мир Господень в своих владениях, а не для того, чтобы ты их закладывал, как пьяная женщина закладывает платье своего ребенка. А я послана Богом возвестить тебе, что ты должен преклонить колени в соборе и на веки вечные вручить свое королевство Господу Богу и стать величайшим королем в мире — как его управляющий и его приказчик, его воин и его слуга! Самая земля Франции станет тогда святой; и солдаты Франции будут воинами Господними; и мятежные герцоги будут мятежниками против Бога; и англичане падут ниц и станут молить тебя, чтобы ты позволил им с миром вернуться в их законную землю. Неужели ты захочешь стать жалким Иудой и предать меня и того, кто меня послал?

Карл (поддаваясь наконец соблазну). Ах, кабы у меня хватило смелости!..

Жанна. У меня хватит — и за тебя и за себя, во имя Господне! Так что ж — со мной ты или против меня?

Карл взволнован. Я попробую. Предупреждаю тебя, долго я не выдержу. Но я попробую. Сейчас увидишь. (Бежит к главным дверям и кричит.) Эй, вы! Идите сюда все до одного. (Перебегает к дверям под аркой. Жанне.) Но ты смотри не отходи от меня и не позволяй, чтоб они мне грубили. (Кричит под арку.) Идите сюда! Живо! Весь двор!

Придворные возвращаются в зал и занимают прежние места, шумя и удивленно переговариваясь. Карл усаживается на трон.

Ух! Как головой в воду! Но все равно. Будь что будет. (Пажу.) Вели им замолчать! Слышишь, дрянь ты этакая?

Паж (как и в прошлый раз, хватает алебарду и несколько раз ударяет в пол). Молчание перед лицом его величества! Король хочет говорить. (Властно.) Да замолчите вы наконец!

Наступает тишина.

Карл (встает). Я вручил Деве командование армией. И все, что она прикажет, должно немедленно быть исполнено.

Общее изумление. Ла Гир в восторге хлопает своей железной перчаткой по набедреннику.

Ла Тремуй (угрожающе поворачивается к Карлу), Это еще что такое? Я командую армией!

Карл невольно съежился. Жанна быстро кладет руку ему на плечо. Карл делает над собой отчаянное усилие, которое разрешается неожиданным жестом: король щелкает пальцами перед носом своего шамбеллана.

Жанна. Вот тебе и ответ, медведюшка. (Внезапно выхватывает меч, чувствуя, что настал ее час.) Кто за Бога и его Деву? Кто идет со мной на Орлеан?

Ла Гир (с увлечением, тоже обнажая меч). За Бога и его Деву! На Орлеан!

Все рыцари (следуя его примеру, с жаром). На Орлеан!

Жанна с сияющим лицом падает на колени и возносит Богу благодарственную молитву. Все также преклоняют колена, кроме архиепископа, который стоя их благословляет, и Ла Тремуя, который, весь обмякнув, привалился к стене и сквозь зубы бормочет ругательства.

Картина третья

Орлеан, 29 мая 1429 года. Пригорок на южном берегу Луары, откуда открывается далекий вид на серебряную гладь реки как вниз, так и вверх по течению. Дюнуа, которому сейчас двадцать шесть лет, расхаживает взад и вперед по берегу. Его копье воткнуто в землю, на конце копья флажок, который развевается на сильном восточном ветру. Рядом лежит его щит с косой полоской в гербе. В руках у него жезл командующего войском. Дюнуа хорошо сложен, легко носит латы. У него широкий лоб и заостренный подбородок, так что по форме лицо его напоминает узкий равнобедренный треугольник; тяготы военной жизни и ответственность военачальника уже наложили на него свою печать; но, судя по выражению лица, это добрый и одаренный человек, чуждый иллюзий и притворства. Его паж сидит на земле, упершись локтями в колени и кулаками в щеки, и от нечего делать глазеет на реку. День клонится к вечеру: и оба они — и взрослый и мальчик — невольно поддаются обаянию прелестного пейзажа.

Дюнуа (на мгновение останавливается, смотрит на развевающийся флажок, устало качает головой и опять принимается ходить). Западный ветер, западный ветер, западный ветер, да когда же ты наконец подуешь? Ветер, ты как распутная женщина: когда не надо, она тебе изменяет; а когда хочешь, чтобы изменила, тут-то она и доймет тебя постоянством! Западный ветер на светлой Луаре… Какая рифма к Луаре? (Снова смотрит на флажок и грозит ему кулаком.) Переменись, чтоб тебе! Переменись, ты, английская шлюха! С запада, с запада, говорят тебе! Дуй с запада! У-у! (С гневным ворчанием отворачивается и некоторое время ходит молча, потом опять начинает приговаривать.) Западный ветер, веселый ветер, вольный ветер, вертлявый ветер, ветер-ветреник, веющий над водой, — или уж ты больше никогда не подуешь, во веки веков?

Паж (вскакивает на ноги). Вон! Вон! Смотрите! Вон она!

Дюнуа (пробуждаясь от задумчивости, живо). Где? Кто? Дева?..

Паж. Да нет! Птичка! Зимородок. Как синяя молния! Вон на тот куст села.

Дюнуа (в ярости оттого, что обманулся в своих ожиданиях). Только и всего! Ах ты дьяволенок! Голова без мозгов! Вот возьму да швырну тебя в реку!

Паж (ничуть не испугавшись, так как знает, с кем имеет дело). До чего хорошенькая! Как голубой огонек! А вон другая!

Дюнуа (живо подбегает к берегу). Где? Где?

Паж (показывает). Вон, над камышами.

Дюнуа (радостно). Ага! Вижу!

Оба следят за птицами, пока те не скрываются из виду.

Паж. Вы же сами вчера бранились, зачем я вам вовремя не показал.

Дюнуа. Но ты ведь знаешь, что я сегодня жду Деву. А кричишь! В другой раз я такую тебе задам трепку — будешь знать, как орать попусту!

Паж. Какие милочки, а? Вот бы поймать!

Дюнуа. Попробуй только! Я тебя самого посажу на месяц в железную клетку, чтобы ты знал, как Это приятно! Мерзкий мальчишка!

Паж смеется и снова усаживается на землю.

Дюнуа (расхаживая взад и вперед.) Синяя птичка, синяя птичка, ведь я храню тебя, перемени же ветер ты для меня… Нет, это не рифмует. Кто согрешил любя. Этак лучше. Но, к сожалению, никакого смысла. (Заметив, что подошел вплотную к пажу.) Мерзкий мальчишка! (Отворачивается и идет обратно.) Пресвятая Мария в голубых лентах — голубых, как спинка у зимородка, — ужели ты поскупишься для меня на западный ветер?

Голос часового (с западной стороны). Стой! Кто идет?

Голос Жанны. Дева.

Дюнуа. Пропустить! Сюда, Дева! Ко мне!

Вбегает Жанна в великолепном вооружении. Она не помнит себя от гнева. Ветер вдруг стихает, и флажок повисает вдоль копья. Но Дюнуа слишком занят Жанной и не замечает этого.

Жанна (резко). Ты Незаконнорожденный из Орлеана?

Дюнуа (сдержанно и сурово, указывая на свой щит). Ты же видишь косую полосу на гербе. А ты — Жанна, именуемая Девой?

Жанна. Ну а кто же еще!

Дюнуа. Где твое войско?

Жанна. Там, сзади. Отстали. Они обманули меня. Привели не на тот берег.

Дюнуа. Да. Это я приказал.

Жанна. Зачем? Англичане же на том берегу.

Дюнуа. Англичане на обоих берегах.

Жанна. Но Орлеан на том. Значит, там и нужно с ними сражаться. Как перебраться на тот берег?

Дюнуа (мрачно). Есть мост.

Жанна. Ну так во имя Божье! Перейдем мост и атакуем их.

Дюнуа. Это как будто очень просто. Но это невозможно.

Жанна. Кто это сказал?

Дюнуа. Я это говорю. И другие — постарше и поумнее меня с этим согласны.

Жанна (решительно). Ну так эти, что постарше и поумнее, просто-напросто старые ослы. Они тебя одурачили. А теперь еще и меня вздумали дурачить — привели не на тот берег! Разве ты не знаешь, что я принесла тебе помощь, которой не получал еще ни один военачальник и ни одна крепость?..

Дюнуа. (снисходительно улыбаясь). Твою собственную?

Жанна. Нет. Помощь и совет Царя Небесного. Как пройти на мост?

Дюнуа. Ты очень нетерпелива, Жанна.

Жанна. А разве сейчас время для терпения? Враг у наших ворот, а мы стоим опустив руки и ничего не делаем. Ах, да почему же ты не сражаешься?.. Послушай, я освобожу тебя от страха! Я…

Дюнуа (весело смеясь, отмахивается от Жанны). Нет, нет, милочка! Если ты освободишь меня от страха, я буду отличным рыцарем из книжки, но очень плохим командующим армией. Ну ладно. Давай-ка я поучу тебя военному ремеслу. (Подводит ее ближе к реке.) Видишь эти две башни по сю сторону моста? Ну вон те, большие!

Жанна. Да. Это наши или годдэмов?

Дюнуа. Помолчи-ка и слушай. Если бы я засел в одной из этих башен всего с десятком солдат, я бы мог выстоять против целой армии. А у годдэмов в каждой башне не десять солдат, а десять раз по десять, а может, и еще больше, — так трудно ли им выстоять против нас?

Жанна. Они не могут выстоять против Бога. Бог не давал им землю под этими башнями. Они украли ее у Бога. Бог дал ее нам. Я возьму эти башни.

Дюнуа. Одна?

Жанна. Наши солдаты их возьмут. А я поведу солдат.

Дюнуа. Никто за тобой не пойдет.

Жанна. Я не стану оборачиваться и смотреть, пошел ли кто-нибудь за мной.

Дюнуа (отдавая должное ее мужеству, хлопает ее по плечу). Молодец! Из тебя, пожалуй, выйдет солдат. Ты влюблена в войну.

Жанна (поражена). О! А архиепископ говорит, что я влюблена в религию!

Дюнуа. Я, кажется, и сам, да простит мне Бог, немножко влюблен в эту злую ведьму — войну. Я как человек, у которого две жены. А ты хочешь быть как женщина, у которой два мужа?

Жанна (понимая его слова буквально). У меня никогда не будет мужа. Один парень из Туля подал на меня в суд за то, что я будто бы нарушила обещание выйти за него замуж; но это неправда, я ему ничего не обещала. Я солдат — и не хочу, чтобы обо мне думали как о женщине. И женское платье не хочу носить. Мне не интересно то, что интересует женщин. Они думают о любовниках и деньгах, а я думаю о том, как поведу солдат на приступ и где лучше поставить пушки. Вы, военные, не умеете применять пушки. Вам бы только побольше дыму и грохоту — как будто этим можно выиграть сражение.

Дюнуа (пожимает плечами). Это верно. Сплошь да рядом от артиллерии больше хлопот, чем пользы.

Жанна. Так-то оно так, паренек, но каменную стену не пробьешь конной атакой. Тут нужны пушки — и большие пушки, не то что у вас.

Дюнуа (усмехается простоте ее обращения и сам отвечает ей в тон). Так-то оно так, девушка, но смелое сердце и крепкая лестница совладают с любой стеной, будь она из каменных каменная.

Жанна. Я первая взойду по лестнице, когда мы станем брать эти башни. А ты пойдешь за мной? Вызываю тебя!

Дюнуа. Нельзя вызывать командующего армией, Жанна. Только начальникам мелких отрядов разрешается проявлять личную храбрость в бою. А кроме того, знай: ты мне нужна как святая, а не как солдат. Удальцов у меня довольно — только кликни! Да толку-то от них мало.

Жанна. Я не удалец, я служанка Господня. Мой меч освящен Богом. Я нашла его в алтаре в церкви святой Екатерины, где Бог хранил его для меня. Я, может, ни одного удара не нанесу этим мечом, — мое сердце полно мужества, а не гнева. Я поведу, а твои солдаты пойдут за мной — вот и все, что я могу. Но это я должна сделать, и ты меня не остановишь.

Дюнуа. Все в свое время. Эти башни нельзя взять вылазкой на мост. Надо, чтобы наши войска поднялись вверх по реке и уже с этого берега зашли англичанам в тыл.

Жанна (в ней пробуждается ее военная сметка). Так надо связать плоты и поставить на них пушки. А солдаты переправятся на лодках.

Дюнуа. Плоты готовы, и солдаты сидят на веслах. Но они ждут воли Божьей.

Жанна. Как это так? Это Бог ждет их.

Дюнуа. Так пусть он пошлет им западный ветер. Наши лодки вон там — ниже по реке. Они не могут идти сразу и против течения, и против ветра. Вот и приходится ждать, пока Господь Бог переменит ветер. Пойдем, Жанна. Я отведу тебя в церковь.

Жанна. Нет. Я люблю церковь. Но англичане не послушаются наших молитв. Они понимают, только когда их колотят и рубят. Я не пойду в церковь, пока мы их не побьем.

Дюнуа. Нет, ты должна пойти. Там есть для тебя дело.

Жанна. Какое дело?

Дюнуа. Помолиться о западном ветре. Я уже молился. Я даже пожертвовал церкви два серебряных подсвечника. Но мои молитвы не доходят. Может, твои дойдут. Ты молода и невинна.

Жанна. Ах, да, да. Ты прав. Я буду молиться. Я расскажу все святой Екатерине, и она попросит Бога, чтобы он послал нам западный ветер. Скорее! Покажи мне дорогу в церковь.

Паж (громко чихает). А-а-пчхи!

Жанна. Будь здоров, милый! Идем, Дюнуа.

Уходят. Паж встает, намереваясь последовать за ними. Он поднимает с земли щит и берется уже за копье, как вдруг замечает, что развевающийся на ветру флажок вытянут теперь в восточную сторону.

Паж (роняет щит и в волнении громко зовет). Сеньор! Сеньор! Мадемуазель!

Дюнуа (бегом возвращается). Ну что там? Зимородок?

С любопытством смотрит вверх по реке.

Жанна (догнав его). О! Зимородок? Где?

Паж. Нет! Ветер, ветер, ветер! (Показывает на флажок.) Вот отчего я чихнул!

Дюнуа (глядя на флажок). Ветер переменился. (Крестится.) Господь сказал свое слово. (Преклоняет колена и подает Жанне свой жезл.) Отныне ты командуешь королевской армией. Я твой солдат.

Паж (глядя вниз по реке). Лодки уже отчалили! Да как идут! Так и шпарят против течения!

Дюнуа (встает). А теперь — к башням! Ты меня вызывала идти за тобой. Теперь я тебя вызываю — веди!

Жанна (заливается слезами и, обняв Дюнуа за шею, целует его в обе щеки). Дюнуа, милый товарищ по оружию, помоги мне! Слезы слепят мне глаза… Поставь мою ногу на лестницу и скажи: «Вперед, Жанна!»

Дюнуа (тащит ее за руку). Что там еще за слезы! Ты смотри, где полыхают пушки, — туда и держи!

Жанна (с вновь вспыхнувшей отвагой). А!

Дюнуа (увлекая ее за собой). За Бога и святого Дени!

Паж (пронзительно кричит). За Деву! За Деву! За Бога и Деву! Ура, ура, ура-а-а! (Хватает щит и копье и убегает вприпрыжку в диком восторге.)

Картина четвертая

Палатка в английском лагере. Английский капеллан, лет пятидесяти, с бычьей шеей, сидит на табурете у стола и усердно пишет. По другую сторону стола, в красивом кресле, сидит важного вида вельможа, сорока шести лет, и перелистывает рукописный часослов с цветными миниатюрами. От этого занятия он, видимо, получает большое удовольствие: капеллан же весь кипит от подавленного гнева. Стол находится справа от вельможи: слева от него стоит обитый кожею табурет.

Вельможа. Вот это я называю тонкой работой. Нет ничего прекраснее, чем хорошая книга, с правильно расположенными колонками жирных черных букв, с красивыми полями, с умело вставленными расцвеченными рисунками. Но в наше время люди разучились любоваться книгой: они ее читают. Для них нет разницы — что книга, что вот эти счета на сало и отруби, которые вы там царапаете.

Капеллан. Меня удивляет, милорд, что вы так хладнокровно относитесь к нашему положению. Весьма, я бы сказал, хладнокровно.

Вельможа (надменно). В чем дело?

Капеллан. Дело в том, милорд, что нас, англичан, побили.

Вельможа. Это, знаете ли, бывает. Только в исторических книгах и в балладах поражение всегда терпит неприятель.

Капеллан. Но мы терпим поражение за поражением. Сперва Орлеан…

Вельможа (пренебрежительно). Ну, Орлеан…

Капеллан. Я знаю, что вы хотите сказать, милорд: что это был явный случай колдовства и чародейства. Но нас продолжают бить. Мы потеряли Жарго, Мен, Божанси — не только Орлеан. А теперь нашу армию искрошили возле Патэ и сэр Джон Талбот взят в плен. (Бросает перо, чуть не плача.) Мне это очень тяжело, милорд, очень. Не могу видеть, как моих земляков колотит кучка каких-то иностранцев.

Вельможа. А! Вы англичанин?

Капеллан. Конечно нет, милорд! Я дворянин. Но как и вы, милорд, я родился в Англии. Это имеет значение.

Вельможа. Привязаны к земле? А?

Капеллан. Вашему сиятельству угодно острить на мой счет. И в силу своего высокого положения вы можете это делать безнаказанно. Вам, разумеется, не хуже моего известно, что я не привязан к земле в грубом смысле этого слова — как крепостной. Но у меня есть чувство привязанности к ней (с растущим волнением), и я этого не стыжусь. И если так и дальше пойдет, то, видит Бог (порывисто вскакивает), я скину рясу ко всем чертям, сам возьмусь за оружие и своими руками удушу эту проклятую ведьму!

Вельможа (добродушно смеясь). Без сомнения, капеллан, без сомнения! Если мы ничего лучше не придумаем. Но сейчас еще рано. Потерпите немножко.

Капеллан снова садится с обиженным видом.

(Легким тоном.) Ведьмы я не особенно боюсь. Я, видите ли, в свое время совершил паломничество в Святую землю, и небесные силы, ради поддержания собственного авторитета, не допустят, чтобы надо мной взяла верх какая-то деревенская колдунья. Но вот Незаконнорожденный из Орлеана — этот орешек будет потруднее разгрызть! Тем более, что он тоже побывал в Святой земле, — так что тут у нас шансы равные.

Капеллан. Но ведь он всего-навсего француз, милорд.

Вельможа. Француз! И откуда только вы берете такие выражения! Или уже эти бургундцы, и бретонцы, и гасконцы, и пикардийцы тоже начинают называть себя французами, как наши земляки начинают звать себя англичанами? Они уже говорят о Франции — или там об Англии — как о своей стране. Их страна, скажите пожалуйста! А что же будет с вами или со мной, если утвердится подобный образ мыслей?

Капеллан. А почему бы и нет, милорд? Чем это плохо для нас?

Вельможа. Человек не может служить двум господам. Если эта белиберда насчет служения своей родине засядет им в голову, то конец власти феодального сеньора и конец власти Церкви! То есть конец вам и мне.

Капеллан. Смею думать, что я верный служитель Церкви. И не будь у меня шестерых двоюродных братьев, я бы имел право на титул барона Стогэмберского, утвержденный еще Вильгельмом Завоевателем. Но разве это причина, чтобы мне спокойно стоять и смотреть, как англичан колотят какой-то незаконнорожденный француз и нечестивая ведьма из ихней поганой Шампани?

Вельможа. Не волнуйтесь, капеллан, не волнуйтесь. Придет время — и мы сожжем ведьму и поколотим Незаконнорожденного. Как раз сейчас я поджидаю епископа города Бовэ, чтобы договориться с ним о ее сожжении. Его, знаете ли, выгнали из епархии, и сделали это именно сторонники помянутой ведьмы.

Капеллан. Сперва, милорд, надо ее поймать.

Вельможа. Или купить. Я предложу за нее царский выкуп.

Капеллан. Царский выкуп! За эту шлюху!

Вельможа. Ничего не поделаешь. Нужно, чтобы на всех хватило. Кто-нибудь из приближенных Карла продаст ее бургундцам, а те продадут ее нам; будут посредники — трое или четверо, — и каждый потребует себе за комиссию.

Капеллан. Чудовищно! А все эти мерзавцы евреи. Где только деньги переходят из рук в руки, тут и они сейчас же вотрутся. Будь моя воля, я бы ни одного еврея не оставил в живых ни в одной христианской стране!

Вельможа. Но почему же? Евреи по крайней мере торгуют честно. Деньги они берут, это верно, но зато и дают что-то взамен. А вот тот, кто с тебя норовит взять и ничего тебе за это не дать, тот, насколько я могу судить по собственному опыту, всегда оказывается христианином.

Появляется паж.

Паж. Его преосвященство, епископ города Бовэ, монсеньор Кошон.

Входит Кошон, человек лет шестидесяти. Паж удаляется. Оба англичанина встают.

Вельможа (с подчеркнутой любезностью). Дорогой епископ, как мило с вашей стороны, что вы пришли! Разрешите представиться: Ричард де Бичем, граф Уорик, к вашим услугам!

Кошон. Ваша слава, граф, дошла и до меня.

Уорик. А этот почтенный клирик — это Джон де Стогэмбер.

Капеллан (бойко отчеканивает). Джон Бойер Спенсер Невилль де Стогэмбер к вашим услугам, монсеньор: бакалавр теологии и хранитель личной печати его высокопреосвященства кардинала Винчестерского.

Уорик (Кошону). У вас его, кажется, называют кардиналом английским. Дядя нашего короля.

Кошон. Мессир де Стогэмбер, я преданный сторонник и доброжелатель его высокопреосвященства. (Протягивает руку капеллану, и тот целует епископский перстень у него на пальце.)

Уорик. Благоволите присесть, монсеньор. (Ставит свое кресло во главе стола и жестом приглашает епископа сесть.)

Кошон легким наклонением головы изъявляет согласие занять это почетное место. Уорик небрежно подталкивает кожаный табурет к столу и садится с той же стороны, где сидел раньше. Капеллан идет обратно к своему стулу.

Хотя Уорик уступил главное место за столом епископу, стремясь подчеркнуть свое почтительное отношение к нему, но в дальнейших переговорах он принимает на себя ведущую роль, — видимо, иначе это себе и не мысля. Он сохраняет прежний тон любезности и радушия, но в его голосе появляются новые нотки, показывающие, что теперь он переходит к деловой части разговора.

Уорик. Должен сказать, монсеньор, что наше свидание происходит в не совсем благоприятную для нас минуту. Карл намерен короноваться в Реймсе; вернее, эта девица из Лотарингии намерена его короновать. И мы — не стану ни обманывать вас, ни обольщать вас напрасной надеждой, — мы не в силах этому помешать. Коронация, вероятно, существенно изменит положение Карла.

Кошон. Еще бы! Это очень ловкий ход со стороны Девы.

Капеллан (снова приходя в волнение). Если нас побили, так потому, что дрались нечестно. Этого еще не бывало, чтобы англичанина победили в честном бою!

Кошон слегка поднимает брови, затем его лицо снова приобретает невозмутимое выражение.

Уорик. Наш друг убежден, что эта молодая женщина — колдунья. Будь это так, вы, ваше преосвященство, вероятно, сочли бы своим долгом предать ее в руки инквизиции, дабы она была сожжена на костре за свое нечестие!

Кошон. Если б ее взяли в плен в моей епархии — то да, конечно.

Уорик (очень довольный тем, что епископ понимает его с полуслова). Совершенно справедливо. Ну-с, а в том, что она колдунья, как будто нет никаких сомнений?

Капеллан. Ни малейших. Явная ведьма.

Уорик (мягко укоряя его за вмешательство). Мессир Джон, мы ведь хотим знать мнение его преосвященства.

Кошон. Боюсь, что нам придется считаться не только с собственным мнением, а еще и с мнением — или, если хотите, с предрассудками — французского суда.

Уорик (поправляет его). Католического суда, монсеньор.

Кошон. Католический суд, как и всякий суд, какое бы высокое дело он ни выполнял и из какого бы высокого источника ни черпал вдохновение, в конце концов состоит из людей. А когда эти люди французы — как теперь принято их называть — то не так-то просто будет убедить их в том, что если французская армия разбила английскую, так уж тут непременно замешано колдовство.

Капеллан. Как! Даже когда сам прославленный сэр Джон Талбот потерпел поражение? Когда его самого взяла в плен какая-то потаскуха из лотарингской канавы?!

Кошон. Мы все знаем, мессир, что сэр Джон Талбот неустрашимый и грозный воин. А вот что он способный полководец, это еще надо доказать. Вам угодно думать, что его победила эта девушка. Но кое-кто из нас, пожалуй, склонен будет видеть в этом заслугу Дюнуа.

Капеллан (презрительно). Дюнуа! Незаконнорожденный из Орлеана!

Кошон. Разрешите вам напомнить…

Уорик (перебивая). Я знаю, что вы хотите сказать, монсеньор. Дюнуа разбил меня под Монтаржисом.

Кошон (с поклоном). И для меня это служит доказательством того, что сеньор Дюнуа и в самом деле выдающийся полководец.

Уорик. Ваше преосвященство — образец учтивости. Я со своей стороны готов признать, что Талбот просто-напросто драчливое животное. И если его взяли в плен при Патэ, так, вернее всего, он сам в этом виноват.

Капеллан (разгорячаясь). Милорд, под Орлеаном эту женщину ранило в горло английской стрелой, она плакала от боли, как ребенок, — многие это видели! И с этой смертельной раной она еще сражалась весь день. А когда наши храбрецы, как истые англичане, отбили все ее атаки, она подошла к самой стене бастиона — одна, с белым знаменем в руках; и на солдат нашло оцепенение, так что они не могли ни пустить стрелу, ни поднять меч. И французы ринулись на них и загнали на мост, который тотчас был объят пламенем и провалился под ними. Все полетели в реку и тонули сотнями. Чему все это приписать? Полководческим талантам вашего Дюнуа? А может быть, это было адское пламя, вызванное чародейством?

Уорик. Ваше преосвященство, простите мессиру Джону его чрезмерную горячность, но он довольно точно изобразил положение вещей. Дюнуа — великий полководец; хорошо, мы согласны. Но почему все-таки он ничего не мог сделать, пока не появилась эта колдунья?

Кошон. Я не говорю, что ей не помогают сверхъестественные силы. Однако вспомните, что было начертано на этом белом знамени? Не имя сатаны или Вельзевула, но благословенные имена нашего Господа и его Пресвятой Матери. А этот ваш командир, который утонул, — Гляз-да, так вы его кажется, зовете…

Уорик. Гласдэйл. Сэр Уильям Гласдэйл.

Кошон. Глясс-делль, ага! Благодарю вас! Уж он-то, во всяком случае, не был святым. И у нас многие считают, что гибель ему была послана за его богохульственную брань против Девы.

Уорик (лицо его начинает приобретать весьма кислое выражение). Как прикажете все это понимать, монсеньор? Может быть, Дева уже и вас обратила?

Кошон. Будь это так, я не сунулся бы сюда, прямо к вам в лапы. Поостерегся бы.

Уорик (вежливо протестуя). Ну что вы, что вы, монсеньор!..

Кошон. Если дьявол сделал эту девушку своей пособницей, — а я полагаю, что это именно так…

Уорик (успокаиваясь). А! Слышите, мессир Джон? Я знал, что монсеньор епископ не обманет наших ожиданий. Простите, я вас перебил. Продолжайте.

Кошон. Если так, то это значит, что дьявол целится гораздо дальше, чем вы думаете.

Уорик. Вот как? И куда же именно? Слушайте, мессир Джон.

Кошон. Если бы дьявол задался целью погубить душу одной деревенской девушки, так неужели ради этого он стал бы навязывать себе на шею столько хлопот? Помогать ей выигрывать одно сражение за другим? Нет, милорд: такое простое дело по силам самому захудалому чертенку, — если, конечно, эта девушка вообще доступна соблазну. Князь тьмы не занимается подобной мелочью. Если он наносит удар — то самой католической Церкви, властвующей над всем миром духа. Если он кует погибель — то всему роду человеческому. Против столь ужасных замыслов Церковь всегда стоит на страже. И в этой девушке я вижу одно из орудий, коими сатана пользуется для своих целей. Она вдохновлена, но ее вдохновение от дьявола.

Капеллан. Я вам говорил, что она ведьма!

Кошон (гневно). Она не ведьма. Она еретичка.

Капеллан. А какая разница?

Кошон. И вы, священник, задаете мне такой вопрос! Удивительно, до чего вы, англичане, все-таки тупоумные! Ведь все, что вы называете ее колдовством, можно объяснить самым естественным образом. Все ее чудеса гроша медного не стоят: да она и сама не считает их чудесами. Все ее победы доказывают только, что у нее более ясная голова на плечах, чем у вашего сквернослова Глясс-делля или у этого бешеного быка — Талбота, и что мужество веры, даже если это ложная вера, всегда выстоит против мужества гнева.

Капеллан (не веря своим ушам). Как?.. Ваше преосвященство сравниваете сэра Джона Талбота, наследника графов Шрюсбери, с бешеным быком?!

Уорик. Вам, мессир Джон, это было бы неприлично, поскольку между вами и баронским титулом стоят еще шесть наследников. Но так как я граф, а Талбот всего-навсего рыцарь, то я позволю себе согласиться с этим сравнением. (Кошону.) Хорошо, монсеньор, мы не настаиваем на колдовстве. Но тем не менее эту женщину надо сжечь.

Кошон. Я не могу ее сжечь. Церковь не может отнимать жизнь. И мой первый долг — позаботиться о спасении этой девушки.

Уорик. Понятно. Но вы иногда сжигаете же людей на кострах?

Кошон. Нет. Когда Церковь отсекает от себя упорного еретика, как сухую ветвь от древа жизни, мы передаем его в руки светской власти. А уж что светская власть найдет нужным с ним сделать — это Церкви не касается.

Уорик. Совершенно справедливо. А светской властью в данном случае являюсь я. Что ж, монсеньор, передавайте нам вашу сухую ветвь, а уж я позабочусь, чтобы огонек для нее был наготове. Если вы отвечаете за церковную часть работы, я готов отвечать за светскую!

Кошон (сдерживая гнев). Я ни за что не отвечаю. Вы, большие бароны, слишком склонны видеть в Церкви только орудие своих политических целей.

Уорик (с улыбкой, примирительным тоном). Только не в Англии, уверяю вас.

Кошон. В Англии больше, чем где-либо. Нет, милорд. Перед престолом Всевышнего душа этой деревенской девушки стоит не меньше, чем ваша душа или душа вашего короля. И первая моя обязанность — это спасти ее. Я не потерплю, чтобы вы усмехались на мои слова, как будто я только повторяю приличия ради пустую затверженную формулу, а на самом деле между нами давно уже решено, что я выдам вам эту девушку. Я не просто политический прелат; моя вера для меня то же, что для вас — ваша честь! И если найдется лазейка, через которую это крещеное дитя Господне сможет достичь спасенья, я сам подведу ее туда.

Капеллан (вскакивает в бешенстве). Вы изменник!

Кошон (тоже вскакивает). Ты лжешь, поп! (Дрожа от ярости.) Если ты посмеешь сделать то, что сделала эта женщина, — поставить свою страну выше святой католической Церкви, — ты сам взойдешь на костер вместе с нею!

Капеллан. Ваше преосвященство… я… Я забылся. Я… (Садится, жестом выражая покорность.)

Уорик (тоже встал, в тревоге). Монсеньор, прошу у вас прощения за это словечко, вырвавшееся у мессира Джона де Стогэмбера. В Англии оно не имеет того значения, как во Франции. На вашем языке изменник значит предатель, то есть обманщик, вероломный, коварный и бесчестный. А у нас это просто значит: человек, не до конца преданный нашим, английским интересам.

Кошон. Простите. Я не понял. (С достоинством опускается в кресло.)

Уорик (тоже садится; с облегчением). Прошу прощения и за себя. Вам, может быть, показалось, что я слишком легко отношусь к сожжению этой бедной девушки. Но когда на ваших глазах сжигают целые деревни — ведь иногда это просто мелкая подробность в ходе военной операции, — то приходится вытравлять в себе чувство сострадания. Иначе можно сойти с ума. Я, по крайней мере, сошел бы. Смею думать, что и вы, ваше преосвященство, сталкиваясь время от времени с необходимостью сжигать еретиков, вероятно, усвоили себе некий… как бы это лучше выразить?.. ну, скажем, профессиональный взгляд на то, что иначе пришлось бы назвать ужасающей жестокостью?

Кошон. Да. Для меня это весьма печальная обязанность. Даже, как вы говорите, ужасная. Но по сравнению с ужасом ереси — это ничто. Я думаю не о теле этой девушки — оно будет страдать только несколько мгновений, да и все равно, рано ли, поздно ли, станет добычей смерти, более или менее мучительной, но о ее душе, которой, быть может, грозят вечные муки.

Уорик. Вот именно. И дай Бог ее душе обрести спасение! Но практическая наша задача сейчас, по-видимому, в том, чтобы спасти ее душу, не спасая ее тела. Ибо нечего закрывать глаза, монсеньор: если этот культ Девы не будет убит в зародыше, наша игра проиграна.

Капеллан (прерывающимся голосом, как человек, который только что плакал). Можно мне сказать, милорд?

Уорик. Знаете, мессир Джон, лучше бы не надо. Разве только вы сумеете обуздать свою горячность.

Капеллан. Я всего два слова. Конечно, я могу ошибиться. Но Дева очень хитра: она прикидывается набожной, только и делает, что молится и исповедуется. Возможно ли обвинить ее в ереси, если она выполняет все обряды, как верная дочь Церкви?

Кошон (вспылив). Верная дочь Церкви! Сам папа, при всем своем величии, не дерзает так заноситься, как эта женщина! Она так себя держит, как будто она сама и есть Церковь. Она, видите ли, принесла Карлу весть от Господа Бога, а Церковь тут ни при чем, пусть отойдет в сторонку! Она будет короновать Карла в Реймсе, — она, а не Церковь! Она посылает письма королю Англии, пишет, что Бог через нее шлет королю повеление вернуться в свою страну — под страхом Божьей кары, которую она призвана осуществить! Разрешите вам напомнить, кто имел обычай писать как раз такие письма: проклятый Магомет! Антихрист! Да есть ли во всех ее речах хоть одно слово про Церковь? Ни одного! Всегда только Бог — и она!

Уорик. Ну чего же вы хотите? Попала ворона в высокие хоромы! Немудрено, что у нее голова закружилась.

Кошон. А кто вскружил ей голову? Дьявол. И он не о малом хлопочет. Он повсюду забрасывает семена этой ереси. Некий Гус, всего тринадцать лет тому назад сожженный в Констанце, заразил ею всю Богемию. Некто Уиклиф, сам помазанный иерей, принес ее в Англию, и, к вашему стыду, господа, вы дали ему спокойно умереть в постели. И во Франции есть такие: я знаю эту породу. Они как злая язва: если ее не вырезать, не вытоптать, не сжечь, она расползется по всему телу человечества, всюду неся с собой грех и мерзость, раздор и опустошение. Зараженный этой чумой, арабский погонщик верблюдов изгнал Христа и его Церковь из Иерусалима и, как хищный зверь, ринулся на запад, все круша и всех терзая. И только Пиренеи да милость Божья сохранили Францию от верной гибели. Но что делал вначале этот погонщик верблюдов? Не больше того, что делает сейчас эта пастушка. Он слышал голос архангела Гавриила. Она слышит голос святой Екатерины, святой Маргариты и архангела Михаила. Он объявил себя посланцем Божьим и от имени Царя Небесного писал владыкам земным. Она каждодневно рассылает такие письма. Уже не Пресвятую Деву должны мы молить о предстательстве перед Богом, а Деву Жанну. Во что превратится наш мир, если любой безграмотный мужик или любая пастушка станет выбрасывать на свалку всю мудрость, весь опыт, все знания, накопленные Церковью, если она станет отвергать руководство ученых, почтенных, благочестивых людей, возомнив в чудовищной своей гордыне, внушенной дьяволом, что получает вдохновение непосредственно от Бога? Это будет мир, залитый кровью, мир, где свирепствует разруха, где каждый делает, что сам хочет; это будет крушение, возврат к варварству. Сейчас у нас есть Магомет и те, кого он одурачил; есть Жанна и те, кого она одурачила. Но что будет, если каждая девушка возомнит себя Жанной и каждый мужчина — Магометом? Я содрогаюсь при одной этой мысли. Против этого я боролся всю жизнь и буду бороться до конца. Все грехи простятся ей, кроме этого единственного греха, — ибо это грех против Духа Святого. И если она не покается перед всеми и на коленях, во прахе не отречется от своих заблуждений, если она не предаст в руки Церкви всю душу свою без остатка — она взойдет на костер, если попадется мне в руки!

Уорик (с полным равнодушием). Вас это очень волнует. Ну что ж, понятно.

Кошон. А вас нет?

Уорик. Я солдат, а не церковник. Во время моего паломничества в Святую землю мне приходилось встречаться с мусульманами. Они не так уж дурно воспитаны, как меня уверяли. В некоторых случаях они вели себя много приличнее, чем мы.

Кошон (с неудовольствием). Да, вот так оно и бывает, я уже раньше это замечал; люди отправляются на Восток обращать неверных, — а кончается тем, что неверные совращают их самих. Крестоносец, побывав в Святой земле, сам становится наполовину сарацином. Не говоря уж о том, что все англичане — прирожденные еретики.

Капеллан. Англичане — еретики!!! (Взывая к Уорику.) Милорд! Ужели мы должны это терпеть? Его преосвященство помрачился в рассудке. Как может быть ересью то, во что верит англичанин? Это противоречие по существу.

Кошон. Я прощаю вас, мессир де Стогэмбер, ибо невежество ваше непреодолимо. Туманы вашей страны не рождают теологов.

Уорик. Вы бы этого не сказали, монсеньор, если бы слышали, как мы ссоримся из-за религии. Мне очень жаль, что я, по-вашему, выхожу либо еретиком, либо тупицей, но я, как человек, видавший свет, не могу отрицать, что мусульмане с великим почтением относятся к Господу нашему Иисусу Христу; и в том, что святой Петр был рыбаком, не видят такой причины для презрения, как вы, ваше преосвященство, видите в том, что Магомет был погонщиком верблюдов. И мне кажется, нет надобности впадать в ханжество, обсуждая то дело, которое нас интересует.

Кошон. Когда люди ревность о Церкви Христовой называют фанатизмом, я знаю, что мне думать.

Уорик. Это только восточная и западная точка зрения на один и тот же предмет.

Кошон (с ядовитой иронией). Только восточная и западная точка зрения! Только!

Уорик. О, монсеньор, я ведь не спорю с вами. Вы, без сомнения, привлечете на свою сторону церковников. Но нам надо привлечь еще и знать. И по-моему, против Девы можно выдвинуть гораздо более тяжкое обвинение, чем то, которое вы сейчас так убедительно изложили. Говоря по совести, я не очень боюсь, что эта девушка станет вторым Магометом и подорвет власть Церкви своей зловредной ересью. Думаю, что вы преувеличиваете опасность. Но заметили ли вы, что во всех своих письмах она проводит одну и ту же мысль — и Карлу она уже успела ее внушить, — а именно: она предлагает всем королям Европы заключить некую сделку, которая, если она осуществится, разрушит самые основы христианского общества.

Кошон. Ну да. Разрушит Церковь. Я же вам говорил.

Уорик (теряя терпение). Монсеньор, ради Бога, забудьте вы на минутку про Церковь и вспомните, что на земле есть еще и светская власть, а не только духовная. Я и равные мне представляем феодальную аристократию, так же как вы представляете Церковь. Мы — это и есть светская власть. И неужели вы не видите, как бьет по нам умысел этой девушки?

Кошон. Не знаю, почему именно по вам? По Церкви, а стало быть — и по нам, и по вам, и по каждому.

Уорик. Умысел ее в том, чтобы короли вручили свои царства Богу, а затем царствовали как Божьи управители.

Кошон (равнодушно). Вполне здравая идея, с точки зрения теологии. Но королям, я думаю, будет все равно, лишь бы царствовать. Это чистая абстракция. Слова — не больше.

Уорик. О нет. Это хитрейшая уловка, чтобы лишить аристократию всякого значения и сделать короля единственным и абсолютным самодержцем. Сейчас он первый среди равных, тогда он будет их господином. Этого мы не можем допустить; мы никого не поставим над собой господином. На словах мы признаем, что держим наши земли и наши титулы от короля, — ибо должен же быть ключевой камень в своде человеческого общества. Но мы держим их в своих руках и защищаем своим мечом или мечом своих вассалов. А по учению Девы выходит, что король возьмет наши земли — наши земли! — и подарит их Богу, а потом Бог поставит его полным хозяином над ними.

Кошон. Разве это так для вас страшно? Ведь вы же сами делаете королей. Йорк или Ланкастер в Англии, Валуа во Франции — все они царствуют только по вашей воле.

Уорик. Да. Но так будет лишь до тех пор, пока народ повинуется своим феодальным сеньорам, а король для него только главный лицедей в бродячем балагане, не имеющий иных владений, кроме большой дороги, которая принадлежит всем. Но если чаяния народа обратятся к королю, если сеньоры станут в его глазах только слугами короля, король без труда переломает нас одного за другим о свое колено. И чем будем мы тогда, как ни ливрейными прислужниками в его дворцовых залах?

Кошон. И все-таки, милорд, вам нечего бояться, бывают прирожденные короли, и бывают прирожденные государственные деятели. Но очень редко то и другое совмещается в одном человеке. Так где же найдет король советников, которые бы наперед рассчитали и осуществили для него такой план?

Уорик (с не слишком дружелюбной улыбкой). Может быть, среди князей церкви, монсеньор?

Кошон столь же холодно улыбается в ответ и пожимает плечами, не опровергая, однако, этого предположения.

Отнимите силу у баронов — и кардиналы все повернут по-своему.

Кошон (примирительно, бросив полемический тон). Милорд, мы не одолеем Деву, если будем ссориться между собой. Мне хорошо известно, что в мире существует воля к власти. И пока она существует, всегда будет борьба — между императором и папой, между герцогами и кардиналами, между баронами и королями. Дьявол разделяет нас и властвует. Я вижу, вы не принадлежите к числу друзей Церкви; вы прежде всего граф, а я прежде всего священник. Но разве мы не можем забыть наши разногласия перед лицом общего врага? Теперь я понимаю: вас тревожит не то, что эта девушка ни разу не упомянула о Церкви и говорит только о Боге и о себе, а то, что она ни разу не упомянула о феодальной аристократии и говорит только о короле и о себе.

Уорик. Совершенно верно. И эти две мысли — в сущности, одна и та же мысль. Корни ее уходят очень глубоко. Это протест отдельной души против вмешательства священника или сеньора в ее личные отношения с Богом. Если бы нужно было найти имя для этой ереси, я бы назвал ее протестантством.

Кошон (подозрительно смотрит на него). Вы удивительно тонко это понимаете, милорд. Поскобли англичанина — и найдешь протестанта.

Уорик (с изысканной любезностью). А мне кажется, монсеньор, что вы не чужды некоторого сочувствия к ложному учению Девы о светской власти. Предоставляю вам самому найти для него название.

Кошон. Вы ошибаетесь, милорд. Я вовсе не сочувствую ее политическим притязаниям. Но мне, как священнику, открыто сердце простых людей; и я утверждаю, что за последнее время в них все больше укореняется еще одна очень опасная мысль. Выразить ее, пожалуй, можно так: Франция — для французов, Англия — для англичан, Италия — для итальянцев, Испания — для испанцев и так далее. У крестьян это получается иногда так узко и ограниченно, что я дивлюсь, как эта крестьянская девушка смогла подняться над требованием — «моя деревня для моих односельчан». Но она смогла. Она это сделала. Когда она грозит выгнать англичан с французской земли, она — это совершенно ясно — думает обо всех владениях, где говорят по-французски. Для нее все люди, говорящие на французском языке, составляют единое целое — То, что Священное писание обозначает как нацию. Эту сторону ее ереси можно, если хотите, назвать национализмом, — лучшего названия я не придумал. Могу только сказать, что это учение в самой своей сути антикатолическое и антихристианское, — ибо католическая Церковь признает только одно царство — царство Христово. Разбейте это царство на отдельные нации, и вы развенчаете Христа. Развенчайте Христа — и кто тогда отведет меч от вашего горла? Мир погибнет среди раздора и кровопролития.

Уорик. Очень хорошо. Вы сожжете ее за протестантство, а я сожгу ее за национализм. Хотя тут я вряд ли встречу сочувствие у мессира Джона. Англия для англичан — такой девиз, пожалуй, найдет отклик в его сердце.

Капеллан. Конечно. Англия для англичан. Это само собой разумеется. Это простейший закон природы. Но эта женщина хочет отнять у Англии законно завоеванные нами земли, которые Бог даровал Англии за то, что она имеет особый талант управлять менее цивилизованными народами ради собственного их блага. Я ничего не понял в том, что вы, милорд, и вы, монсеньор, говорили о протестантстве и национализме, — это слишком учено и слишком тонко для меня, простого клирика. Но мой обыкновенный здравый смысл говорит мне, что эта женщина — мятежница. Ну и довольно с меня. Она восстала против природы, ибо носит мужское платье и сражается, как мужчина. Она восстала против Церкви, ибо отвергает Божественный авторитет папы. Она восстала против Бога, ибо в преступном союзе с сатаной и подвластными ему бесами стремится нанести вред нашей армии. И за всеми этими мятежами кроется злейший ее мятеж, худшее ее преступление — то, что она восстала против Англии! Этого нельзя терпеть. Да погибнет! Сжечь ее! Дабы эта паршивая овца не испортила все стадо. Во имя общего блага пусть одна женщина умрет за народ!

Уорик (встает). Мне кажется, монсеньор, что мы с вами договорились.

Кошон (тоже встает, но считает нужным заявить о своем несогласии). Я не возьму греха на душу. Суд Церкви свершится нелицеприятно. Я до конца буду бороться за душу этой девушки.

Уорик. И мне ее жаль, бедняжку. Не люблю прибегать к таким суровым мерам. Если бы можно было, я бы ее пощадил.

Капеллан (неумолимо). А я бы собственными руками бросил ее в огонь.

Кошон (благословляя его). Sancta simplicitas [21].

Картина пятая

Один из приделов в Реймском соборе: дверь в ризницу. На высоком круглом постаменте — распятие. Под звуки органа молящиеся покидают церковь после коронации.

Жанна стоит на коленях перед распятием и молится. Она великолепно одета, но по-прежнему в мужском костюме. Орган умолкает. Из ризницы выходит Дюнуа, тоже в пышном наряде.

Дюнуа. Ну, Жанна! Довольно тебе молиться. Ты столько плакала. Ты простынешь насмерть, если еще будешь стоять тут на коленях. Уже все кончено, собор опустел; а на улицах полно народу, и все требуют Деву. Мы им сказали, что ты осталась в церкви — помолиться в одиночестве, но они хотят, чтобы ты еще раз к ним вышла.

Жанна. Нет. Пусть вся слава достанется королю.

Дюнуа. Он только портит картину, бедняга. Нет, Жанна. Ты его короновала — ты и должна все проделать, что полагается.

Жанна отрицательно качает головой.

(Поднимает Жанну.) Пойдем, пойдем! Еще час либо два — и конец. Что, тебе так трудно? На мосту под Орлеаном небось было труднее? А, Жанна?

Жанна. Ах, милый Дюнуа, как бы я хотела опять очутиться на мосту под Орлеаном! Там, на мосту, мы жили!

Дюнуа. Да. А кое-кто из нас и умер на этом мосту.

Жанна. Как странно, Джек! Я такая трусиха, перед битвой я вся дрожу от страха. Но потом, когда все кончено и опасность миновала, мне так становится скучно. Так скучно, скучно, скучно!

Дюнуа. Ты должна научиться быть воздержанной в войне, — как ты умеешь быть воздержанной в пище и питье, моя маленькая святая.

Жанна. Милый Джек! Ты любишь меня, правда? Как солдат любит своего товарища.

Дюнуа. Ты в этом нуждаешься, бедное невинное дитя. Господь с тобой! У тебя не слишком много друзей при дворе.

Жанна. Да, почему все эти придворные, и церковники, и рыцари так меня ненавидят? Что я им сделала? Я ничего не просила для себя, — только чтобы мою деревню освободили от податей: нам не под силу платить военные налоги. Я принесла им удачу. Я принесла им победу. Я наставила их на истинный путь, когда они делали всякие глупости. Я короновала Карла, сделала его настоящим королем. И все почести, какие он теперь раздает, все досталось им. За что же они меня не любят?

Дюнуа (подсмеиваясь над ней). Ду-ро-чка! Ты ждешь, что глупцы будут любить тебя за то, что ты разоблачила их глупость? Разве старые полководцы, выжившие из ума путаники и тупицы, любят удачливых молодых капитанов, которые отнимают у них командование? Разве искушенные в политике честолюбцы питают нежность к выскочке, который усаживается на их место? Разве архиепископам приятно, когда кто-то оттирает их от алтаря, пусть даже это будет святой? Да будь у меня чуточку больше честолюбия, я тоже стал бы тебе завидовать.

Жанна. Ты здесь лучше всех, Джек. Единственный мой друг среди всей этой знати. Твоя мать, наверно, сама была из простых. Когда я возьму Париж, я брошу все и вернусь к себе в деревню.

Дюнуа. Еще неизвестно, дадут ли тебе взять Париж.

Жанна (изумленно). Что?..

Дюнуа. Я бы сам давно его взял, кабы тут все было чисто. Сдается мне, они бы не прочь, чтобы Париж взял тебя. Так что берегись.

Жанна. Джек, мне несдобровать, я знаю. Если меня не прикончат годдэмы и бургундцы, так это сделают французы. Не будь у меня моих голосов, я бы совсем потеряла мужество. Потому-то я и ушла сюда потихоньку — помолиться наедине после коронации. Послушай, Джек, я тебе что-то скажу… Мои голоса приходят ко мне в колокольном звоне. Не тогда, когда колокола звонят все разом, как сегодня, — это просто трезвон и больше ничего. Но вот здесь, в уголке, где звон как будто нисходит с неба и все полно отголосков… или где-нибудь в поле, когда кругом тихо-тихо и колокола поют вдалеке, — тогда в этом звоне я слышу мои голоса.

Соборный колокол отбивает четверть.

Жанна. Вот! (Лицо ее принимает экстатическое выражение.) Слышишь! «Господь с тобой» — то самое, что ты сказал. А когда они отбивают половину, они говорят: «Смелей, вперед!»; а когда три четверти, они выговаривают: «Я твой покров». Но когда прошел час и большой колокол вызвонил: «Францию Бог хранит», тогда святая Екатерина и святая Маргарита, а иногда и сам архангел Михаил говорят со мной… И я не знаю наперед, что они скажут. И тогда, ах, тогда…

Дюнуа (перебивает ее ласково, но без всякого сочувствия). Тогда мы слышим в колокольном звоне все, что нам хочется услышать. Не нравятся мне, Жанна, эти твои разговоры о голосах. Я бы, право, подумал, что ты немножко не в своем уме, но я давно заметил, что, когда мы с тобой разговариваем, ты приводишь вполне здравые объяснения для всех своих поступков, хотя и говоришь другим, что только повинуешься приказу святой Екатерины.

Жанна (сердито). Ты же не веришь в мои голоса, так приходится для тебя подыскивать объяснения. Но я сперва слышу голоса, а объяснения нахожу потом. Хочешь — верь, хочешь — нет.

Дюнуа. Ты рассердилась, Жанна?

Жанна. Да. (Улыбаясь.) Нет. На тебя я не могу сердиться. Знаешь, чего мне хочется? Чтобы ты был одним из наших деревенских ребятишек.

Дюнуа. Почему?

Жанна. Я бы могла тебя понянчить.

Дюнуа. Ты все-таки женщина, Жанна.

Жанна. Нет. Даже ни чуточки. Я солдат. А солдаты всегда возятся с ребятишками, когда выпадает случай.

Дюнуа. Это верно. (Смеется.)

Король Карл выходит из ризницы, где он разоблачался после коронации. С ним Синяя Борода, по правую руку от него, а Ла Гир — по левую. Жанна незаметно отступает за постамент. Дюнуа остается стоять между Карлом и Ла Гиром.

Дюнуа. Итак, ваше величество, вы теперь наконец миропомазанный король! Как себя чувствуете после этой церемонии?

Карл. Ни за что не соглашусь второй раз это вытерпеть, хотя бы меня за это сделали императором солнца и луны. Одни эти одежды — Господи, какая тяжесть! А это знаменитое святое миро, о котором столько было разговору, оно еще вдобавок оказалось прогорклым, фффу! Архиепископ, наверно, чуть жив — его ризы весят добрую тонну. Он еще раздевается там, в ризнице.

Дюнуа (сухо). Вашему величеству следовало бы почаще носить латы. Привыкли бы к тяжелой одежде.

Карл. Вы не можете без насмешек? А я все равно не буду носить латы; драться — это не мое занятие. Где Дева?

Жанна (выходит вперед, между Карлом и Саней Бородой, и опускается перед королем на колени). Ваше величество, я сделала вас королем. Мой труд закончен. Я возвращаюсь к отцу в деревню.

Карл (удивленно, но с явным облегчением). Ах, так? Ну что ж! Хорошо!

Жанна встает, глубоко уязвленная.

(Легкомысленно продолжает.) Ну да! В деревне жизнь куда более здоровая… А?

Дюнуа. Но скучная.

Синяя Борода. Неудобно тебе будет в юбках, после того как ты столько времени их не носила.

Ла Гир. Ты будешь скучать по битвам. Это дурная привычка, но благородная. И отстать от нее очень трудно.

Карл (с беспокойством). Но мы, конечно, не можем тебя удерживать, раз тебе так уж захотелось домой.

Жанна (с горечью). Я знаю, что никто из вас по мне не заплачет. (Отворачивается от Карла и отходит к более близким ей по духу Дюнуа и Ла Гиру.)

Ла Гир. Оно, конечно, теперь мне будет посвободнее. Можно выругаться, когда захочешь. Но я все-таки буду скучать по тебе, Жанна.

Жанна. Ла Гир, несмотря на все твои грехи и все твои кощунства, мы встретимся с тобой в раю. Я люблю тебя, как любила Питу, нашу старую овчарку. Питу мог загрызть волка. И ты ведь будешь грызть английских волков и гнать их с нашей земли, пока они не станут опять добрыми псами господними?

Ла Гир. Мы будем грызть их вместе, Жанна.

Жанна. Нет. Я проживу еще только один год.

Все. Что?!

Жанна. Только год. Я почему-то знаю, что так будет.

Дюнуа. Чепуха!

Жанна. Джек, скажи мне. Ты думаешь, тебе удастся их выгнать?

Дюнуа (со спокойной уверенностью). Да. Я их выгоню. До сих пор нас били, потому что мы смотрели на сражение, как на турнир или как на рынок, где можно выторговать богатый выкуп. Мы играли в войну, а англичане воевали всерьез. Но теперь я кое-чему научился. И я присмотрелся к англичанам. У них здесь нет корней. Я и раньше их бивал и теперь разобью.

Жанна. Ты не будешь жесток с ними?..

Дюнуа. Годдэмы не понимают нежного обращения. Не мы начали эту войну.

Жанна (внезапно). Джек, пока я здесь, — давай возьмем Париж!

Карл (в испуге). Нет, нет! Мы потеряем все, чего добились. Ради Бога, не надо больше сражений! Мы сейчас можем заключить очень выгодный договор с герцогом Бургундским.

Жанна. Договор!.. (Гневно топает ногой.)

Карл. Ну и что ж такого?.. Почему бы мне теперь и не заключать договоры, раз я уже коронован и миропомазан? Ох, это миро…

Из ризницы выходит архиепископ и присоединяется к разговаривающим. Он останавливается между Карлом и Синей Бородой.

Карл. Архиепископ, Дева опять хочет воевать.

Архиепископ. А разве война кончилась? Разве у нас уже мир?

Карл. Да нет. Но разве не довольно того, что мы уже сделали? Давайте заключим договор. Сейчас нам везет, так надо этим пользоваться, пока удача от нас не отвернулась.

Жанна. Удача! Сам Господь Бог сражался за нас, а ты это зовешь удачей! И хочешь остановиться, когда англичане еще попирают святую землю нашей Франции!

Архиепископ (строго). Жанна! Король обратился ко мне, а не к тебе. Ты забываешься. Ты стала очень часто забываться!

Жанна (нисколько не смутившись, грубовато). Так говорите с ним вы. И скажите ему, что Бог не велит ему снимать руку с плуга.

Архиепископ. Я не так часто призываю имя Божье, как ты, — ибо когда я толкую его волю, то опираюсь на авторитет Церкви и достоинство моего священного сана. Раньше ты уважала мой сан и не посмела бы так говорить со мной, как говоришь сейчас. Ты пришла сюда, облеченная в смирение. И Бог благословил твои начинания. Но теперь ты запятнала себя грехом гордости. Повторяется древняя греческая трагедия: кто превозносится, будет повержен во прах.

Карл. Да, она думает, что лучше всех знает, что надо делать.

Жанна (расстроена, но в простодушии своем не замечает, какое впечатление производят ее слова). Но ведь я же правда знаю это лучше, чем вы. И я совсем не гордая. Я только тогда говорю, когда знаю, что я права.

(вместе) Синяя Борода. Ха! Ха! Карл. Вот, вот!

Архиепископ. Откуда ты знаешь, что ты права?

Жанна. Знаю. Мои голоса…

Карл. Ах, твои голоса, твои голоса!.. Почему они не говорят со мной, твои голоса? Кажется, я король, а не ты.

Жанна. Они говорят с тобой, но ты их не слышишь. Ты никогда не сидел вечером в поле, прислушиваясь к ним. Когда звонят к вечерне, ты поднимаешь руку, крестишься — и дело с концом! Но если бы ты помолился от всего сердца и посидел бы еще там долго-долго, слушая, как дрожат в воздухе отголоски, после того как колокола уже умолкли, ты тоже услышал бы мои голоса. (Резко отворачивается.) Да какие тебе нужны голоса, когда то же самое может сказать любой кузнец: что надо ковать железо, пока горячо. Я тебе говорю: надо сейчас же двинуться на Компьен и освободить его, как мы освободили Орлеан. Тогда и Париж откроет нам свои двери. А нет, так мы их проломаем! Какая цена твоей короне, если столица твоя в чужих руках!

Ла Гир. И я то же самое говорю. Мы пройдем сквозь их войска, как раскаленное ядро сквозь ком масла. А ты что скажешь, Дюнуа?

Дюнуа. Кабы наши пушечные ядра все были такие же горячие, как твоя голова, да кабы их у нас было вдоволь, мы, без сомнения, завоевали бы весь мир. Пылкость и отвага очень хорошие слуги в бою, но очень плохие господа. И всякий раз, как мы надеялись только на них, они предавали нас в руки врага. Мы не способны вовремя понять, что мы биты, — вот наш главный порок.

Жанна. Вы не способны понять, что вы победили, — это порок еще худший. Вам бы с подзорной трубой ходить на приступ — авось разглядели бы, что англичане еще не отрезали вам всем носы. Вы бы и сейчас сидели запертые в Орлеане — вы с вашими военными советами! — кабы я не заставила вас перейти в наступление. Всегда надо наступать; и если у вас хватит выдержки, враг дрогнет первый. Вы не умеете завязывать бой и не умеете использовать пушки. А я умею. (Садится, поджав ноги, на каменную плиту, сердито отвернувшись от остальных.)

Дюнуа. Я знаю, что ты думаешь о нас, генерал Жанна.

Жанна. Не в этом суть, Джек. Скажи им, что ты думаешь обо мне.

Дюнуа. Я думаю, что Бог был на твоей стороне. Я не забыл, как ветер переменился и как переменились наши сердца, когда ты пришла к нам. И клянусь, я никогда не забуду, что мы победили под твоим знаменем. Но я скажу тебе как солдат: не надейся, что Бог станет выполнять за тебя всю черную работу. Он может иной раз вырвать тебя из когтей смерти и поставить опять на ноги, если ты этого достоин, — но когда тебя поставили на ноги, так уж дальше сражайся сам, пусти-ка в ход всю свою силу и все свое умение. Потому что — не забывай! — он должен быть справедлив и к твоему противнику. Ну вот, он поставил нас на ноги под Орлеаном, — в этом ты была его орудием. И это так нас воодушевило, что мы сумели выиграть еще несколько сражений и вот сейчас празднуем коронацию. Но если мы и впредь будем полагаться только на Бога и ждать, что он сделает за нас то, что мы должны сделать сами, то нас разобьют. И поделом!

Жанна. Но…

Дюнуа. Подожди, я еще не кончил. Пусть никто из вас не воображает, что в победах, которые мы одержали, полководческое искусство не играло никакой роли. Король Карл! В ваших воззваниях вы ни слова не сказали о моей доле участия в этой кампании. И я не жалуюсь. Для народа важна Дева и ее чудеса, а не то, сколько труда потратил Дюнуа, чтобы достать для нее солдат и прокормить их. Но мне-то совершенно точно известно, что тут сделал Бог руками своей посланницы и что пришлось сделать мне собственными моими руками. И я вам говорю, что время чудес кончилось и что впредь кто будет вести военную игру по всем правилам, тот и выиграет, — если, конечно, счастье от него не отвернется.

Жанна. Ах! Если, если, если!.. Если бы да кабы да во рту росли грибы! (Порывисто встает.) А я тебе скажу, Дюнуа, что все твое военное искусство тут не поможет, потому что ваши рыцари не умеют драться по-настоящему. Война для них — это игра, вроде лапты или еще какой-нибудь из тех игр, которые они так любят; вот они и выдумывают правила: так, мол, драться честно, а этак — нечестно; и навешивают на себя все больше лат — и на себя и на своих несчастных коней, — потолще да потяжелей, чтоб как-нибудь стрелой не пробило: так что если рыцарь упадет с коня, то уже и встать не может — лежит дожидается, пока не придут оруженосцы и его не поднимут, а тогда уж начинает торговаться о выкупе с тем человеком, который его выковырнул из седла. Неужели вам не понятно, что теперь все это ни к чему? Куда годятся ваши латы против пороха? А если бы и годились, так разве тот, кто сражается за Бога и Францию, станет среди боя торговаться о выкупе, как ваши рыцари, которых большинство только этим и живут? Нет, такой будет биться, чтобы победить, а свою жизнь предаст в руки Господа Бога своего, как делаю я, когда выхожу на бой. Простые люди это понимают. У них нет денег на латы, и выкуп им не из чего платить, но они, полуголые, идут за мной в ров, на осадную лестницу, на стены! Они так рассуждают: тебе конец или мне конец, — а Бог поможет тому, кто прав! Можешь качать головой, Джек, сколько тебе угодно. И Синяя Борода пусть себе задирает нос и крутит свою козлиную бородку. Но вспомните, что было в Орлеане, когда ваши рыцари и капитаны отказались напасть на англичан и даже заперли ворота, чтобы я не могла выйти. А горожане и простые люди пошли за мной, и выломали ворота, и показали вам, как надо драться!

Синяя Борода (обиженно). Жанне мало быть папой, она хочет еще быть Цезарем и Александром Македонским.

Архиепископ. Гордыня ведет к падению, Жанна.

Жанна. Ну, гордыня там или не гордыня, а вы скажите, правда это или нет? Есть тут здравый смысл?

Ла Гир. Это правда. Половина из нас боится, как бы им хорошенький носик не повредили, а другая половина только о том и думает, как уплатить по закладным. Дюнуа! Не мешай ей делать по-своему. Она многого не знает, но глаз у нее зоркий. Воевать теперь нужно не так, как раньше. И случается иной раз, что кто меньше знает, у того лучше выходит.

Дюнуа. Мне все это известно. Я и сам воюю не по-старому. Французы получили хороший урок под Азенкуром, под Креси и Пуатье. И я вытвердил этот урок. Я могу точно рассчитать, во сколько человеческих жизней обойдется мне тот или другой ход; и если я считаю, что стоит того, я делаю этот ход и оплачиваю расходы. Но Жанна никогда не считает расходов: она бросается в атаку и ждет, что Бог ее выручит; она думает — Бог у нее в кармане! До сих пор численное превосходство было на ее стороне — и она побеждала. Но я знаю Жанну: когда-нибудь она бросится в бой с десятком солдат, а нужна будет сотня, — и тогда она обнаружит, что Бог на стороне больших батальонов. Ее возьмут в плен. И тот счастливец, которому она попадется, получит шестнадцать тысяч фунтов от графа Уорика.

Жанна (польщена). Шестнадцать тысяч фунтов! Неужто они столько за меня назначили? Да таких деньжищ на всем свете нету!

Дюнуа. В Англии есть. А теперь ответьте-ка мне: кто из вас хоть пальцем пошевельнет, чтобы спасти Жанну, если ее захватят? Я скажу первый, от имени армии: с того дня, когда какой-нибудь годдэм или бургундец стащит ее с седла и его не поразит гром небесный; с того дня, когда ее запрут в темницу и святой Петр не пошлет ангела раскрошить в щепы решетку и запоры; с того дня, когда враг убедится в том, что ее можно ранить, как и меня, и что непобедимости в ней не больше, чем во мне, — с этого дня она будет стоить для нас меньше, чем любой солдат. И я ни одним солдатом не пожертвую для нее, хотя от всего сердца люблю ее как товарища по оружию.

Жанна. Я не виню тебя, Джек. Ты прав. Если Бог попустит, чтобы меня разбили, я буду стоить меньше любого солдата. Но, может быть, Франция захочет все-таки заплатить за меня выкуп — из благодарности за то, что Бог сделал для нее моими руками?

Карл. Я тебе сто раз говорил: у меня нет денег. А с этой коронацией, которую ты сама затеяла, пришлось опять влезть в долги, и это тоже все вылетело, до последнего грошика.

Жанна. Церковь богаче тебя. Я уповаю на Церковь.

Архиепископ. Женщина! Тебя повлекут по улицам и сожгут на костре, как ведьму.

Жанна (кидается к нему). О монсеньор, что вы говорите? Как это может быть? Я — ведьма?

Архиепископ. Пьер Кошон знает свое дело. Парижский университет недавно сжег женщину. А знаешь, в чем была ее вина? Она говорила, что все, что ты сделала, правильно и угодно Богу.

Жанна (ошеломлена). Но почему?.. Какой в этом смысл?.. Конечно, то, что я сделала, угодно Богу. Не могли же они сжечь эту бедняжку только за то, что она говорила правду?..

Архиепископ. А вот сожгли!

Жанна. Но вы-то знаете, что она говорила правду. Вы не позволите им сжечь меня?..

Архиепископ. А как я этому помешаю?

Жанна. Обратитесь к ним от имени Церкви. Ведь вы же один из князей Церкви. Я ничего не боюсь, если вы осените меня своим благословением.

Архиепископ. У меня нет благословения для тебя, пока ты пребываешь во грехе гордыни и непослушания.

Жанна. Ну как вы можете это говорить?! Я совсем не горда, и непослушания во мне никакого нету. Я бедная простая девушка, ничего не знаю, даже читать не умею. Откуда у меня взяться гордыне? И как можно сказать, что я непослушна, когда я во всем слушаюсь моих голосов, потому что они от Бога?

Архиепископ. Голос Бога на земле один — это голос воинствующей Церкви. А все твои голоса — это только отзвуки собственного твоего своеволия.

Жанна. Неправда!

Архиепископ (покраснев от гнева). Ты говоришь архиепископу у него же в соборе, что он лжет, — и еще утверждаешь, что неповинна в гордыне и непослушании!

Жанна. Я не говорила, что вы лжете. Это вы все равно что сказали про мои голоса, будто они лгут. А в чем они до сих пор солгали? Ну, пусть вы в них не верите, пусть даже это только отзвуки моего собственного здравого смысла, — но разве неверно, что они всегда правы, а ваши земные советники всегда неправы?

Архиепископ (возмущенно). Я вижу, ты глуха ко всем увещаниям.

Карл. Да это же старая история: она одна права, а все остальные ошибаются!

Архиепископ. Так слушай, что я скажу, и пусть это послужит тебе последним предостережением. Если ты будешь погибать оттого, что собственное разумение поставила выше руководства духовных своих пастырей, Церковь отречется от тебя и предоставит тебя той участи, какую ты навлекла на себя своим самомнением. Дюнуа уже сказал тебе, что если ты вверишься воинскому своему тщеславию и пренебрежешь советами своих начальников…

Дюнуа (перебивает). Точнее говоря, если ты вздумаешь освобождать компьенский гарнизон, не имея превосходства сил, какое у тебя было в Орлеане…

Архиепископ. То армия отречется от тебя и не окажет тебе помощи. А его величество король уже сказал, что у него нет средств платить за тебя выкуп.

Карл. Ни одного сантима.

Архиепископ. Ты останешься одна — одна как перст! — со своим тщеславием, своим невежеством, своей самонадеянностью, своей кощунственной дерзостью, коя побуждает тебя все эти грехи называть упованием на Бога. Когда ты выйдешь через эту дверь на солнечный свет, толпа станет приветствовать тебя. Они принесут тебе маленьких детей, они приведут больных, чтобы ты их исцелила, они будут целовать тебе руки и ноги и сделают все — больные неразумные души! — чтобы вскружить тебе голову и воздвигнуть в тебе то безрассудное самомнение, которое приведет тебя к погибели. Но и в этот час ты будешь одна, ибо они не спасут тебя. Мы — и только мы — можем стать между тобой и позорным столбом, у которого враги наши сожгли ту несчастную женщину в Париже.

Жанна (подняв глаза к небу). У меня есть лучшие друзья и лучшие советники, чем вы.

Архиепископ. Вижу, что я напрасно трачу слова в надежде смягчить закоснелое сердце. Ты отвергаешь наше покровительство, ты делаешь все, чтобы восстановить нас против себя. Хорошо, пусть так. Отныне ты будешь защищать себя сама; и если потерпишь неудачу — да смилуется Господь над твоей душой!

Дюнуа. Это все правда, Жанна. Прими это в расчет.

Жанна. Где сейчас были бы вы все, если бы я принимала в расчет этакую правду? Какой помощи можно ждать от вас, какого совета? Да, я одна на земле. Я всегда была одна. Мой отец велел моим братьям утопить меня, если я не буду сидеть дома и сторожить его овец, пока Франция истекает кровью. Пусть погибнет Франция, лишь бы его ягнята были целы! Я думала, у Франции есть друзья при дворе французского короля, но нахожу лишь волков, которые грызутся над клочьями ее истерзанного тела. Я думала, у Господа Бога повсюду есть друзья, ибо Господь — друг каждому. И в простоте своей я верила, что вы, ныне отвергающие меня, будете мне крепостью и защитой и не допустите, чтобы кто-нибудь причинил мне зло. Но я теперь поумнела. И очень хорошо: немножко ума еще никому не вредило. Не думайте, что вы очень меня напугали тем, что я одна. Франция тоже одна. И Бог — один. Что мое одиночество перед одиночеством моей родины и моего Господа? Я понимаю теперь, что одиночество Бога — это его сила, — ибо что сталось бы с ним, если бы он слушался всех ваших ничтожных, завистливых советов? Ну что ж, мое одиночество тоже станет моей силой. Лучше мне быть одной с Богом: его дружба мне не изменит, его советы меня не обманут, его любовь меня не предаст. В его силе я почерпну дерзновение и буду дерзать, дерзать — до последнего моего вздоха! А теперь я пойду к простым людям, и любовь, которую я увижу в их глазах, утешит меня, после той ненависти, что я видела в ваших. Вы бы рады были, чтобы меня сожгли. Но знайте: если я пройду через огонь — я войду в сердце народа и поселюсь там на веки вечные. Итак, да будет Господь со мной! (Уходит.)

Несколько мгновений все смотрят ей вслед в угрюмом молчании. Затем Жиль де Рэ принимается крутить свою бородку.

Жиль де Рэ. Невозможная женщина! Право, я вовсе не питаю к ней неприязни. Но что делать с таким характером?

Дюнуа. Бог мне свидетель, упади она в Луару, я бы, не задумываясь, кинулся ее вытаскивать — прыгнул бы в воду в полном вооружении! Но если она наделает глупостей под Компьеном и попадет в плен, я вынужден буду сложа руки смотреть, как она гибнет.

Ла Гир. Так вы уж лучше сразу закуйте меня в цепи, потому что, когда она вот так воспламеняется духом, я готов идти за ней хоть в самый ад.

Архиепископ. Да, она и меня несколько вывела из равновесия. В минуты таких вспышек она приобретает опасную власть над людьми. Но пропасть уже разверзлась у ее ног. И к добру или к худу, но мы бессильны отвести ее от края.

Карл. И что ей неймется? Сидела бы смирно; а еще лучше — уезжала бы к себе домой!

Выходят подавленные.

Картина шестая

Руан, 30 мая 1431 года. Длинный каменный зал в замке, подготовленный для судебного заседания; но это будет не суд с присяжными, а суд епископа с участием Инквизиции, поэтому на возвышении стоят рядом два кресла — для епископа и для Инквизитора. От них под тупым углом расходятся два ряда стульев — для каноников, докторов теологии и юриспруденции и доминиканских монахов, выступающих в роли асессоров. Внутри угла — стол и табуреты для писцов; там же грубый деревянный табурет для подсудимого. Все это находится в ближнем конце зала. Дальний конец несколькими арками открывается прямо во двор, от которого отделен ширмами и занавесами. Если стать во внутреннем конце зала лицом к выходу во двор, то судейские кресла и стол для писцов будут справа, табурет для подсудимого — слева. В правой и левой стене сводчатые двери. Ясное майское утро; светит солнце.

В сводчатую дверь, что позади судейских кресел, входит Уорик; за ним паж.

Паж (развязно). А вы знаете, ваше сиятельство, что нам здесь быть не полагается? Это церковный суд, а мы всего-навсего светская власть.

Уорик. Да, мне это небезызвестно. Не соблаговолите ли вы, ваше высоконахальство, отыскать епископа города Бовэ и намекнуть ему, что если он хочет поговорить со мною до начала суда, то меня можно найти в этом зале.

Паж (направляясь к двери). Слушаю, милорд.

Уорик. И смотри, веди себя прилично. Не вздумай Пьера Кошона называть преподобный Петрушка.

Паж. Не беспокойтесь, милорд. Я буду с ним очень, очень нежен. Потому что, когда сюда приведут Деву, она преподобному Петрушке подсыплет перцу в ушки.

Из той же двери входит Пьер Кошон в сопровождении доминиканского монаха и каноника; у последнего в руках пачка бумаг.

Его преподобие монсеньер епископ города Бовэ. И еще два преподобных джентльмена.

Уорик. Проваливай! И последи, чтобы нам не мешали.

Паж. Слушаю, милорд! (Сделав пируэт, исчезает.)

Кошон. С добрым утром, ваше сиятельство!

Уорик. С добрым утром, ваше преосвященство! А ваших друзей я, кажется, еще здесь не встречал.

Кошон (представляя монаха, стоящего по его правую руку). Разрешите вас познакомить. Милорд — брат Жан Леметр из ордена святого Доминика, заместитель генерального инквизитора по делам ереси во Франции. Брат Жан — граф Уорик.

Уорик. Добро пожаловать, ваше преподобие. У нас в Англии, к сожалению, нет инквизиции, хотя она нам до крайности необходима. Особенно в таких случаях, как вот этот.

Инквизитор кланяется с усталой улыбкой. Это пожилой человек, кроткий по виду, однако чувствуется, что при случае он может быть властным и твердым.

Кошон (представляя каноника, стоящего по его левую руку). Каноник Жан д’Эстиве из капитула города Байе. Здесь он выступает как продвигатель.

Уорик. Продвигатель?

Кошон. Это соответствует обвинителю в светском суде.

Уорик. Ага! Обвинитель. Так, так. Понятно. Очень рад с вами познакомиться, каноник д’Эстиве.

Д’Эстиве кланяется. Это человек лет сорока или несколько моложе, с лощеными манерами, но что-то хищное проглядывает сквозь внешний лоск.

Разрешите узнать, в каком положении сейчас это дело? Больше девяти месяцев прошло с тех пор, как бургундцы взяли Деву в плен под Компьеном. Полных четыре месяца с тех пор, как я выкупил ее у бургундцев за весьма солидную сумму, исключительно для того, чтобы ее можно было привлечь к суду. И уже почти три месяца с того дня, когда я передал ее вам, монсеньор епископ, как лицо, подозреваемое в ереси. Не кажется ли вам, что вы очень уж долго размышляете над весьма простым делом? Кончится когда-нибудь этот суд или нет?

Инквизитор (улыбаясь). Он еще и не начинался, милорд.

Уорик. Не начинался? А что же вы, собственно говоря, делали без малого три месяца?

Кошон. Мы не теряли времени зря, милорд. Мы провели пятнадцать допросов Девы: шесть открытых и девять тайных.

Инквизитор (все с той же усталой улыбкой). Видите ли, милорд, я присутствовал только на двух последних допросах. До сих пор этим делом ведал епископский суд, а не суд Святого Трибунала. И только совсем недавно я пришел к мысли, что и мне — то есть Святой Инквизиции — надлежит принять в нем участие. Вначале я вообще не предполагал тут наличия ереси. Мне казалось, что это дело чисто политическое и что Деву должно рассматривать как военнопленного. Но после того как я присутствовал при двух допросах, я вынужден признать, что это один из наиболее тяжких случаев ереси, с какими мне когда-либо приходилось сталкиваться. Так что теперь все в порядке, и мы можем сегодня же приступить к суду. (Направляется к судейскому креслу.)

Кошон. Хоть сию минуту, если это удобно вашему сиятельству.

Уорик (любезно). Весьма утешительно это слышать, господа. Ибо не скрою от вас, что наше терпение начинало уже истощаться.

Кошон. Я так и понял из слов ваших солдат. Они грозились утопить тех из нас, кто вздумает мирволить Деве.

Уорик. Ай, ай, ай! Ну, к вам, монсеньор, это, во всяком случае, не относится.

Кошон (строго). Не знаю. Ибо я сделаю все возможное для того, чтобы эту женщину судили беспристрастно. Суд Церкви это не игрушки, милорд.

Инквизитор (возвращаясь). Следствие велось с величайшим беспристрастием, милорд. Деве не нужны защитники: ее будут судить лучшие ее друзья, одушевленные единственным желанием — спасти ее душу от вечной гибели.

Д’Эстиве. Милорд, я обвинитель в этом процессе. Моя печальная обязанность — изложить перед судом все преступления этой девушки. Но я сегодня же отказался бы от обвинения и поспешил на ее защиту, если бы не знал, что другие, много превосходящие меня по учености, набожности, красноречию и умению убеждать, были уже посланы к ней, чтобы вразумить ее и объяснить, какой опасности она подвергается и с какой легкостью может ее избегнуть. (Увлекшись, впадает в топ судейской риторики, к неудовольствию Кошона и инквизитора, которые до сих пор слушали его со снисходительным одобрением.) Нашлись дерзкие, утверждавшие, что мы действуем из побуждений ненависти. Но Господь Бог нам свидетель, что это ложь! Разве мы подвергали ее пытке? Нет! Разве мы перестали хоть на минуту увещевать ее? Не призывали ее вернуться в лоно Церкви, как заблудшее, но любимое дитя? Разве мы…

Кошон (сухо прерывает его). Берегитесь, каноник. Это все правильно, что вы говорите, — но если его сиятельство вам поверит, я не отвечаю за вашу жизнь, да и за свою тоже.

Уорик (укоризненно, но не опровергая его слов). О монсеньор, вы обижаете нас, бедных англичан. Но это верно: мы не разделяем вашего благочестивого желания спасти Деву. Скажу вам напрямик: ее смерть — это политическая необходимость, о которой я сожалею, но изменить тут ничего не могу. И если Церковь ее отпустит…

Кошон (с угрозой, властно и надменно). Если Церковь ее отпустит, горе тому, кто тронет ее пальцем, будь он хоть сам император! Церковь не подчинена политической необходимости, милорд.

Инквизитор (вмешивается, стараясь их умиротворить). Не беспокойтесь о приговоре, милорд. У вас есть могучий союзник, который еще с большей настойчивостью, чем вы, толкает ее прямо на костер.

Уорик. И кто же этот столь любезный помощник, смею спросить?

Инквизитор. Сама Дева. Чтобы ее спасти, надо заткнуть ей рот, — ибо всякий раз, как она его открывает, она произносит себе смертный приговор.

Д’Эстиве. Это сущая правда, милорд. У меня волосы встают дыбом, когда я слышу, как столь юное существо изрыгает столь ужасные богохульства!

Уорик. А! Ну в таком случае, конечно, сделайте для нее все возможное, — раз вы уверены, что толку от этого все равно не будет. (Пристально глядя на Кошона.) Мне бы очень не хотелось действовать без благословения Церкви.

Кошон (отвечает ему взглядом, в котором циническое восхищение смешано с презрением). А еще говорят про англичан, что они лицемеры! Вы готовы стоять за своих, милорд, даже с риском для собственной бессмертной души. Восхищаюсь такой преданностью, но сам я на нее не способен. Я боюсь вечного проклятия.

Уорик. Если бы мы чего-нибудь боялись, монсеньор, мы не могли бы управлять Англией. Прислать сюда ваших заседателей?

Кошон. Да. Мы будем очень благодарны вам, милорд, если вы удалитесь и позволите нам начать заседание.

Уорик поворачивается на каблуках и уходит во двор. Кошон занимает одно из судейских кресел; Д’Эстиве садится за стол для писцов и принимается просматривать принесенные с собой бумаги.

Кошон (небрежным тоном, усаживаясь поудобнее). Какие негодяи эти английские лорды!

Инквизитор (усаживаясь в другое кресло, слева от Кошона). Светская власть всегда делает человека негодяем. Они не проходят особой подготовки, и у них нет апостолической преемственности. Наша знать тоже не лучше.

В зал гурьбой входят асессоры; впереди всех капеллан де Стогэмбер и каноник де Курсель, молодой священник лет тридцати. Писцы усаживаются за стол, оставляя незанятым один стул — напротив д’Эстиве. Некоторые асессоры садятся на свои места, другие стоят и болтают между собой, дожидаясь, пока заседание будет официально открыто. Де Стогэмбер упорно стоит, всем своим видом выражая возмущение; каноник де Курсель тоже стоит, справа от него.

Кошон. Доброе утро, мессир де Стогэмбер. (Инквизитору.) Капеллан кардинала Английского.

Капеллан (поправляя его). Винчестерского, монсеньор. Ваше преосвященство! Я желаю заявить протест.

Кошон. Вы уже столько их заявляли.

Капеллан. В данном случае я не одинок, монсеньор. Вот этот каноник, сир де Курсель, из Парижского капитула, присоединяется к моему протесту.

Кошон. Ну, что там у вас такое?

Капеллан (обиженно). Говорите лучше вы, мессир де Курсель. Я, как видно, не пользуюсь доверием его преосвященства. (Надувшись, садится на стул справа от Кошона.)

Курсель. Мы составили обвинительный акт против Девы — всего шестьдесят четыре пункта. Это стоило нам немалых трудов. А теперь мы узнаем, что его сократили, даже не посоветовавшись с нами.

Инквизитор. Это я виноват, мессир де Курсель. Я восхищаюсь вашим усердием, плодом которого явились эти шестьдесят четыре пункта. Но в обвинении, как и во всех прочих вещах, что сверх надобности — то лишнее. Вспомните также, что не все члены суда способны к столь тонкому и глубокому мышлению, и многим из них ваша великая ученость может показаться великой бессмыслицей. Поэтому я почел за благо из ваших шестидесяти четырех пунктов оставить двенадцать…

Курсель (ошеломлен). Двенадцать!

Инквизитор. Поверьте мне, для наших целей и двенадцати совершенно достаточно.

Капеллан. Но некоторые из самых важных обвинений сведены почти что на нет. Например, Дева положительно утверждает, что святая Маргарита, и святая Екатерина, и даже архангел Михаил говорили с ней по-французски. Это весьма важный пункт.

Инквизитор. Вы, очевидно, полагаете, что они должны были говорить по-латыни?

Кошон. Нет. Он думает, что они должны были говорить по-английски.

Капеллан. Разумеется, монсеньор.

Инквизитор. Гм! Видите ли, мы как будто все согласны в том, что голоса, которые слышала Дева, были голосами злых духов, старавшихся ее соблазнить и увлечь к вечной погибели. Так не будет ли несколько неучтиво по отношению к вам, мессир де Стогэмбер, и к королю Англии, если мы признаем, что английский язык есть родной язык дьявола? Лучше, пожалуй, на этом не настаивать. К тому же этот вопрос отчасти затронут в оставшихся двенадцати пунктах. Попрошу вас, господа, занять места. И приступим к делу.

Все садятся.

Капеллан. Все равно я протестую. А там — как хотите.

Курсель. Очень обидно, что все ваши труды пропали даром. Это еще лишний пример того дьявольского влияния, которое Дева оказывает на суд. (Садится на стул справа от капеллана.)

Кошон. Вы что, намекаете, что я нахожусь под влиянием дьявола?

Курсель. Я ни на что не намекаю, монсеньор. Но я вижу, что тут есть тайный сговор… Почему-то все стараются замолчать то обстоятельство, что Дева украла лошадь у епископа Сенлисского.

Кошон (с трудом сдерживаясь). Это же не полицейский участок! Неужели мы должны тратить время на такую чепуху?

Курсель (вскакивает, возмущенный). Монсеньор! По-вашему, лошадь епископа — это чепуха?

Инквизитор (мягко). Мессир де Курсель, Дева утверждает, что заплатила полную стоимость за лошадь, и если деньги не дошли до епископа, то это не ее вина. И так как нет доказательств, что она не заплатила, то по этому пункту Деву можно считать оправданной.

Курсель. Да будь это обыкновенная лошадь. Но лошадь епископа! Какие тут могут быть оправдания!.. (Снова садится, растерянный и удрученный.)

Инквизитор. Разрешите вам заметить, при всем моем уважении к вам, что если мы станем предъявлять Деве всякие пустяковые обвинения, в которых она без труда сможет оправдаться, то как бы она не ускользнула от нас по главному пункту — по обвинению в ереси, которое до сих пор она сама неуклонно подтверждала. Поэтому попрошу вас, когда Дева предстанет перед нами, ни словом не упоминать о всех этих кражах лошадей, и плясках с деревенскими детьми вокруг волшебных деревьев, и молениях у заколдованных источников, и обо всех прочих пустяках, которые вы столь прилежно исследовали до моего прибытия. Во Франции не найдется ни одной деревенской девушки, которую нельзя было бы в этом обвинить: все они водят хороводы вокруг волшебных деревьев и молятся у заколдованных источников, а иные из них не задумались бы украсть лошадь у самого папы, если бы представился случай. Ересь, господа, ересь — вот то преступление, за которое мы должны ее судить. Мое дело — розыск и искоренение ереси. Я Инквизитор, а не обыкновенный судья. Направьте все свое внимание на ересь. А остальное пусть вас не заботит.

Кошон. Могу добавить, что мы уже посылали к ней на родину наводить справки. Ничего важного за ней не замечено.

Капеллан и Курсель (вскакивают и восклицают одновременно). Ничего важного, монсеньор? Как! Волшебные деревья — это не…

Кошон (теряя терпение). Замолчите, господа! Или говорите по одному.

Курсель, оробев, опускается на стул.

Капеллан (садится с недовольным видом). То же самое нам сказала Дева в прошлую пятницу.

Кошон. Очень жаль, что вы не последовали ее совету. Когда я говорю: ничего важного, — я хочу сказать; ничего такого, что сочли бы важным люди с достаточно широким умом, способные разобраться в том деле, которым мы сейчас занимаемся. Я согласен с моим коллегой Инквизитором. Нас должно интересовать только обвинение в ереси.

Ладвеню (молодой, но очень исхудалый, аскетического вида доминиканец, сидящий справа от де Курселя). Но разве ересь этой девушки так уж зловредна? Может быть, все дело в ее простодушии? Ведь многие святые говорили то же самое, что Жанна.

Инквизитор (отбросив всякую мягкость, строго и сурово). Брат Мартин, если бы вам пришлось столько иметь дела с ересью, как мне, вы не смотрели бы на нее так легко — даже когда она предстает перед нами в самом безобидном, мало того — в привлекательном и благочестивом обличье. Еретиками очень часто становятся люди, как будто стоящие выше других. Кроткая, набожная девушка или юноша, который по завету Христа роздал свое имение бедным, и воздел вретище нищеты, и посвятил свою жизнь умерщвлению плоти, самоуничижению и делам милосердия, — вот кто иной раз становится основателем ереси столь опасной, что она может разрушить Церковь и Государство, если ее вовремя не уничтожить. Летопись инквизиции полна таких примеров, которые мы даже не решаемся обнародовать, ибо ни один честный мужчина, ни одна чистая женщина им не поверит; а начиналось все именно с такой вот святой простоты. Столько уже раз я это видел! Слушайте и запомните: женщина, которая не хочет носить одежду, приличную ее полу, и надевает мужское платье, подобна мужчине, который отказывается нежить тело свое в мехах и одевается, как Иоанн Креститель; а за ними — так же верно, как день за ночью, — следуют толпы неистовых мужчин и женщин, которые не хотят уже носить никакой одежды. Когда девушки не соглашаются ни выйти замуж, ни постричься в монахини, а мужчины отвергают брак и похоть свою выдают за наитие от Бога, тогда — так же верно, как после весны приходит лето, — они начинают с многоженства, а кончают кровосмешением. Ересь вначале может казаться невинной и даже похвальной, но кончается она столь чудовищным развратом и противным природе грехом, что и самые кроткие из вас, если бы видели ее, как видел я, возопили бы против милосердия Церкви и потребовали для еретиков кары жесточайшей. Уже два столетия борется Святая Инквизиция с этим дьявольским безумием, и мы теперь хорошо знаем, где его истоки: всегда начинается с того, что обуянные гордыней и невежественные люди противополагают личное свое суждение руководству Церкви и мнят себя истолкователями воли Божьей. И не впадайте в обычную ошибку — не считайте этих простаков обманщиками и лицемерами. Они честно и искренне принимают наущение дьявола за голос Божий. Поэтому будьте настороже — не поддавайтесь естественному чувству сострадания. Не сомневаюсь, что все вы милосердные люди, — иначе как могли бы вы посвятить себя служению нашему милосердному Спасителю? Вы увидите перед собой юную девушку, набожную и целомудренную, — ибо скажу вам прямо, господа: то, что рассказывают о ней наши друзья англичане, не подтверждается очевидцами, и, наоборот, есть многочисленные свидетельства, доказывающие, что если и были у нее излишества, то только излишества в благочестии и добрых делах, а не в суетности и распутстве. Эта девушка не из тех, чьи грубые черты говорят о грубости сердца, чьи бесстыдные взоры и непристойное поведение кричат о виновности еще раньше, чем прочитан обвинительный акт. Дьявольская гордыня, приведшая ее на край гибели, не оставила следов на ее лице и даже, как ни странно, на ее нравственном облике, за исключением тех особых областей духа, в которых и проявляется ее самомнение. Так что вы увидите внушенную дьяволом гордость и природное смирение рядом, в одной и той же душе. Поэтому будьте осторожны. Я не призываю вас — Боже меня сохрани! — ожесточить сердца ваши, ибо кара этой девушки, если мы ее осудим, будет столь ужасна, что всякий, кто сейчас хоть каплю злобы допустит в свое сердце, сам навеки потеряет право на милость Божью. Но если вам претит жестокость, — а если есть среди вас хоть один, кому она не претит, я повелеваю ему, ради спасения собственной души, немедленно покинуть это святое судилище, — повторяю, если вам претит жестокость, помните, что нет ничего более жестокого по своим последствиям, чем снисхождение к ереси. Помните также, что ни один суд не бывает так жесток, как простые люди по отношению к тем, кого они подозревают в ереси. В руках Святой Инквизиции еретику не грозит насилие, ему обеспечен справедливый суд, и даже будучи виновен, он может отвести от себя смерть, чистосердечно раскаявшись в своих заблуждениях. Жизнь многих сотен еретиков была спасена благодаря тому, что Святая Инквизиция взяла их в свои руки, и благодаря тому, что народ согласился их отдать, зная, что с ними будет поступлено как должно. Раньше, когда еще не было Святой Инквизиции, знаете ли вы, какая участь постигала несчастного, на которого, может быть совершенно несправедливо и ошибочно, пало подозрение в ереси? Знаете ли вы, какая участь постигает его даже и теперь в тех местах, куда не могут поспеть вовремя посланцы Святого Трибуна: ла? Его побивают камнями, разрывают на куски, топят, сжигают вместе с его домом и невинными его детьми; он гибнет без суда, без отпущения грехов, без погребения, — как собака, которую, убив, выбрасывают на свалку. Не мерзость ли это перед Господом, не бесчеловечна ли жестокость? Поверьте мне, господа, я сострадателен по природе, равно как и по предписанию моей религии; дело, которое я делаю, только тому может показаться жестоким, кто не понимает, что еще худшей жестокостью было бы оставить его несделанным; и все же я охотнее сам бы взошел на костер, если бы не был твердо уверен в том, что оно праведно, необходимо и милосердно по самой своей сути. Пусть же эта уверенность руководит и вами, когда вы сегодня приступите к суду. Гнев плохой советчик: изгоните гнев из своего сердца. Жалость иногда бывает советчиком еще худшим: забудьте жалость. Но не забывайте о милосердии. Помните только, что справедливость должна стоять на первом месте. Монсеньер, не хотите ли вы еще что-нибудь добавить, прежде чем мы начнем?

Кошон. Вы уже сказали все, что я хотел сказать, и гораздо лучше, чем я мог бы это сделать. Думаю, что не найдется ни одного здравомыслящего человека, который не согласился бы с каждым вашим словом. Добавлю только одно. Грубые ереси, о которых вы нам говорили, ужасны; но они, как чума, свирепствуют недолгое время, а затем стихают, — ибо здоровые и разумные люди, как бы их ни подстрекали, никогда не примирятся с наготой, кровосмешением, многоженством и прочими неистовствами. Но сейчас всюду в Европе встает новая ересь, и она вербует себе приверженцев не среди тех, чей ум слаб и мозг болен, — нет. Чем сильнее они умом — тем упорнее в ереси. Это лжеучение не вдается в нелепые крайности и не потворствует вожделениям плоти, но и оно тоже ставит личный взгляд отдельной, столь склонной к заблуждениям души выше вековой мудрости и опыта Церкви. Мощное здание христианства не рухнет оттого, что толпа голых мужчин и женщин будет предаваться грехам Моава и Аммона, — но его может расшатать изнутри и привести к распаду и запустению эта опаснейшая из всех ересей, которую английский командующий назвал протестантством.

Асессоры (перешептываются). Протестантство? Это что такое? О чем говорит епископ? Какая-то новая ересь? Что это он сказал про английского командующего? Вы когда-нибудь слыхали о протестантстве? (И т. д.)

Кошон (продолжает). Да, кстати. Какие меры принял граф Уорик для охраны исполнителей приговора на тот случай, если Дева проявит упорство, а народ ее пожалеет?

Капеллан. Не беспокойтесь, ваше преосвященство. По приказу благородного графа у ворот стоят восемьсот английских солдат в полном вооружении. Дева не ускользнет из наших рук, хотя бы весь город был на ее стороне.

Кошон (возмущенно). Вы не хотите прибавить: дай Бог, чтобы она раскаялась и очистилась от грехов?

Капеллан. По-моему, это не очень-то последовательно. Но я, конечно, не смею спорить с вашим преосвященством.

Кошон (презрительно пожав плечами, отворачивается). Заседание суда открыто.

Инквизитор. Введите подсудимую.

Ладвеню (громко). Подсудимую! Введите ее в зал.

Через сводчатую дверь, находящуюся позади табурета для обвиняемого, вводят Жанну под охраной английских солдат. За ними идет палач со своими помощниками. У Жанны на ногах цепи. Ее подводят к табурету, снимают с нее цепи; стража становится позади нее. Она в черном костюме пажа. Долгое заключение и допросы, предшествовавшие суду, оставили на ней след, но силы ее не сломлены. Она смело оглядывает судей. Торжественная обстановка суда, видимо, не внушает ей того благоговейного страха, на который все здесь рассчитано.

Инквизитор (мягко). Сядь, Жанна.

Она садится на табурет для обвиняемого.

Какая ты сегодня бледная. Ты больна?

Жанна. Нет, ничего спасибо. Я здорова. Но вчера епископ прислал мне карпа, я поела, и мне стало нехорошо.

Кошон. Безобразие! Я же нарочно велел проверить, чтобы рыба была свежая.

Жанна. Я знаю, вы хотели мне добра, монсеньор. Но мне нельзя есть карпа, я всегда от него делаюсь больна. Англичане решили, что вы хотите меня отравить…

Кошон. Что?..

Капеллан. Нет, нет, монсеньор!

Жанна (продолжает). А они непременно хотят сжечь меня живьем как ведьму. Ну, они послали за врачом, но бросить мне кровь не позволили: они, дурачки, думают, что если ведьме открыть жилу, то все ее колдовство вытечет вместе с кровью. Так что он меня не лечил, а только изругал всякими словами, да и ушел. Зачем вы оставляете меня в руках англичан? Я должна быть в руках Церкви. И зачем меня приковывают за ноги к бревну? Или вы боитесь, что я улечу?

Д’Эстиве (жестко). Женщина! Ты здесь не для того, чтобы спрашивать, а чтобы отвечать на наши вопросы.

Курсель. Когда тебя еще не заковывали, разве не пыталась ты убежать, спрыгнув с башни высотой более шестидесяти футов? Если ты не умеешь летать, как ведьма, почему ты жива?

Жанна. Наверное, потому, что тогда башня еще не была такая высокая. А с тех пор, как вы стали меня допрашивать, она с каждым днем становилась все выше.

Д’Эстиве. Зачем ты спрыгнула с башни?

Жанна. Откуда вы знаете, что я спрыгнула?

Д’Эстиве. Тебя нашли во рву. Зачем ты покинула башню?

Жанна. Кто не покинул бы тюрьму, если бы нашел из нее выход?

Д’Эстиве. Ты пыталась бежать.

Жанна. А как же! Конечно. И не в первый раз. Оставьте дверцу в клетке открытой, и птичка улетит.

Д’Эстиве (встает). Это признание в ереси. Прошу суд это отметить.

Жанна. В ереси! Скажете тоже! Выходит, я еретичка, потому что пыталась убежать из тюрьмы?

Д’Эстиве. Разумеется. Если ты находишься в руках Церкви и пытаешься по доброй воле изъять себя из ее рук, значит, ты отрекаешься от Церкви. А это ересь.

Жанна. Чепуха это, вот что. Это уж совсем глупым надо быть, чтобы такое придумать.

Д’Эстиве. Вы слышите, монсеньор, какие надругательства я терплю от этой женщины при исполнении моих обязанностей? (В негодовании садится.)

Кошон. Жанна, я уже предупреждал тебя, что ты только вредишь себе такими дерзкими ответами.

Жанна. Но вы же не хотите говорить со мной как разумные люди! Говорите дело, и я буду отвечать как следует.

Инквизитор (прерывает их). Все это не по правилам. Вы забываете, брат продвигатель, что судоговорение, собственно, еще не началось. Задавать вопросы вы можете лишь после того, как обвиняемая присягнет на Евангелии и поклянется сказать всю правду.

Жанна. Вы мне каждый раз это говорите. И я каждый раз отвечаю: я вам скажу все, что касается до этого суда. Но всю правду я не могу вам сказать: Бог не велит мне открывать всю правду. Да вы бы и не поняли, если б я сказала. Есть старая поговорка: кто чересчур часто говорит правду, тому не миновать виселицы. Мне надоел этот спор; вы уже девять раз за него принимались. Довольно я присягала. Больше не буду.

Курсель. Монсеньор, ее надо подвергнуть пытке.

Инквизитор. Ты слышишь, Жанна? Вот что бывает с теми, кто упорствует. Подумай, прежде чем ответить. Ей уже показывали орудия пытки?

Палач. Все готово, монсеньор. Она их видела.

Жанна. Хоть на куски меня режьте, хоть душу мне вырвите из тела, все равно ничего из меня не вытянете сверх того, что я уже сказала. Ну что мне еще сказать, чтобы вы поняли? А кроме того, я боюсь боли. Если вы сделаете мне больно, я что хотите скажу, только б меня перестали мучить. Но потом от всего откажусь. Так какой же толк?

Ладвеню. Это, пожалуй, верно. Лучше действовать мягкостью.

Курсель. Но ведь всегда применяют пытку.

Инквизитор. Нет. Только когда в том есть необходимость. Если обвиняемый по доброй воле сознался в своих заблуждениях, применение пытки неоправданно.

Курсель. Но это же против правил и против обычая. Тем более что она отказалась присягать.

Ладвеню (с отвращением). Вам что, хочется ее пытать ради собственного удовольствия?

Курсель (удивлен). При чем тут удовольствие? Таков закон. Таков обычай. Так всегда делается.

Инквизитор. Вы ошибаетесь, брат продвигатель. Так поступают только те следователи, которые плохо знают законы.

Курсель. Но эта женщина еретичка. Уверяю вас, всегда в таких случаях применяют пытку.

Кошон. Ну а сегодня не будут, если в том не встретится необходимости. И довольно об этом. Я не желаю, чтобы про нас говорили, будто мы силой вынудили у нее признание. Мы посылали к этой женщине наших лучших проповедников и докторов теологии, они увещевали и умоляли ее спасти от огня свою душу и тело. И мы не пошлем к ней палача, чтобы он снова тащил ее в огонь.

Курсель. Конечно, вами руководит милосердие, монсеньор… Но это очень большая ответственность — отступать от принятых форм!

Жанна. Экая ты балда, братец. По-твоему, как в прошлый раз делали, так, значит, и всегда надо?

Курсель (вскакивает). Распутница! И ты смеешь называть меня балдой?..

Инквизитор. Терпение, брат, терпение. Боюсь, что скоро вы будете слишком жестоко отомщены.

Курсель (бормочет). Балда! Хорошенькое дело! (Садится, очень сердитый.)

Инквизитор. А пока что не надо обижаться на всякое резкое слово, какое может слететь с языка пастушки.

Жанна. А я вовсе не пастушка. Дома я, конечно, присматривала за овцами, как и все. Но я умею делать и самую тонкую женскую работу — прясть и ткать, не хуже любой горожанки.

Инквизитор. Сейчас не время для суетных мыслей, Жанна. Ты в опасности, в ужасной опасности.

Жанна. Я знаю. За что же я и наказана, как не за свою суетность? Кабы я, выходя на бой, не надела, как дура, свой плащ из золотой парчи, никогда бы тому бургундцу не удалось сдернуть меня с седла. И я сейчас не сидела бы здесь.

Капеллан. Если ты так искусна в женских рукодельях, почему ты не осталась дома делать то, что положено женщине?

Жанна. Потому что то дело может делать любая женщина; но мое дело могу делать только я одна.

Кошон. Довольно, господа. Мы тратим время на пустяки. Жанна! Сейчас я задам тебе очень важный вопрос. Подумай, как на него ответить, ибо от этого зависит твоя жизнь и спасение твоей души. Согласна ли ты за все свои слова и поступки, хорошие и дурные, безропотно подчиниться приговору Святой Церкви, заместительницы Бога на земле? Это в особенности касается тех речей и действий, в коих обвиняет тебя брат продвигатель, выступающий на этом суде; готова ли ты принять то истолкование, которое, по внушению свыше, придаст им Воинствующая Церковь?

Жанна. Я верная дочь Церкви. Я сделаю все, что Церковь мне прикажет…

Кошон (наклоняясь вперед, с надеждой в голосе). Да?..

Жанна. Если только она не потребует невозможного.

Кошон с тяжелым вздохом откидывается в кресле. Инквизитор поджимает губы и хмурится. Ладвеню горестно качает головой.

Д’Эстиве. Она обвиняет Церковь в безумии и сумасбродстве, будто бы Церковь может требовать невозможного!

Жанна. Если вы велите мне признать, что все, что я до сих пор говорила и делала: все видения, которые у меня были, все мои голоса и откровения все это не от Бога, — ну так это невозможно; этого я никогда не признаю. Что я делала по Божьему велению, от того я никогда не отрекусь; все, что он мне еще повелит, я сделаю и никого слушать не стану. Вот это я и называю невозможным. И если то, что мне прикажет Церковь, будет противно тому, что мне приказал Бог, я на это не соглашусь, что бы оно ни было.

Асессоры (возгласы изумления и негодования). О! Церковь противна Богу! Ну что вы теперь скажете? Жесточайшая ересь! Слыхано ли что-нибудь подобное! (И т. д.)

Д’Эстиве (бросает на стол свои бумаги). Монсеньор! Каких свидетельств вам еще нужно?

Кошон. Женщина! Ты сказала достаточно для того, чтобы десять еретиков послать на костер. Почему ты не хочешь слушать наших предостережений? Как заставить тебя понять?..

Инквизитор. Воинствующая Церковь говорит тебе, что твои голоса и твои видения были посланы дьяволом, жаждущим твоей погибели. Ужели ты не веришь, что Церковь умнее тебя?

Жанна. Я верю, что Бог умнее меня. Его приказ я и выполняю. Все мои преступления, как вы их называете, я совершила потому, что так мне велел Бог. Я уже сказала: все, что я делала, я делала по Божьему изволению. И ничего другого сказать не могу. И если какой-нибудь церковник скажет, что это не так, я ему не поверю. Я верю только Богу, и ему я всегда покорна.

Ладвеню (пытается ее уговорить; умоляюще). Дитя, ты сама не понимаешь, что говоришь. Зачем ты губишь себя? Послушай. Веришь ли ты, что ты должна покорствовать Святой Церкви, заместительнице Бога на земле?

Жанна. Да. Разве я когда-нибудь это отрицала?

Ладвеню. Хорошо. Но не значит ли это, что ты должна покорствовать его святейшему папе, кардиналам, архиепископам и епископам, которых всех замещает здесь сегодня монсеньер епископ?

Жанна. Да. Но сперва Богу.

Д’Эстиве. Ах, так, значит, твои голоса приказывали тебе не подчиняться Воинствующей Церкви?

Жанна. Нет, они мне этого не приказывали. Я готова повиноваться Церкви. Но сперва Богу.

Кошон. И кто же будет решать, в чем твой долг? Церковь или ты сама, своим умом?

Жанна. Чьим же умом мне решать, как не своим?

Асессоры (потрясены). О!!! (Не находят слов.)

Кошон. Собственными устами ты изрекла себе приговор. Мы все делали, чтобы тебя спасти, даже больше, чем имели право: мы снова и снова открывали тебе дверь, но ты ее захлопнула перед нашим лицом и перед лицом Бога. Осмелишься ли ты утверждать после всего тобою сказанного, что ты находишься в состоянии благодати?

Жанна. Если нет, то да поможет мне Бог его достигнуть. Если да, то да поможет мне Бог его сохранить.

Ладвеню. Это очень хороший ответ, монсеньор.

Курсель. Значит, ты была в состоянии благодати, когда украла лошадь у епископа?

Кошон (встает в ярости). Черт бы побрал лошадь епископа и вас вместе с нею! Мы разбираем дело о ереси. И едва нам удалось докопаться до сути, как все опять идет прахом из-за дураков, у которых одни только лошади в голове и ничего больше! (Дрожит от ярости, но усилием воли заставляет себя сесть.)

Инквизитор. Господа, господа! Тем, что вы цепляетесь за эти мелочи, вы только помогаете Деве. Не удивляюсь, что монсеньор епископ потерял терпение. Что скажет продвигатель? Настаивает ли он на этих второстепенных пунктах?

Д’Эстиве. По своей должности я обязан настаивать на всех пунктах обвинения. Но раз эта женщина призналась в ереси, что грозит ей отлучением от Церкви, то какое значение имеет ее виновность в других, гораздо менее важных проступках, за которые полагается и гораздо меньшая кара? Я разделяю взгляд монсеньора епископа на эти второстепенные пункты. Осмелюсь только почтительно указать на два весьма ужасных и кощунственных преступления, в которых Дева виновна, чего она и сама не отрицает. Во-первых; она общалась со злыми духами и, стало быть, повинна в чародействе. Во-вторых, она носит мужское платье, что неприлично, противно естеству и омерзительно. И невзирая на все наши просьбы и увещания, она не соглашается снять мужскую одежду, даже когда принимает причастие.

Жанна. Разве святая Екатерина — злой дух? Или святая Маргарита? Или архангел Михаил?

Курсель. Почем ты знаешь, что это был архангел? Ведь он являлся тебе в голом виде?

Жанна. По-твоему, Господь так беден, что не может одеть своих ангелов.

Асессоры невольно улыбаются, особенно довольные тем, что шутка обращена против де Курселя.

Ладвеню. Хороший ответ, Жанна.

Инквизитор. Да, это хороший ответ. Однако какой же злой дух будет таким простаком, чтобы явиться молодой девушке в непристойном и оскорбляющем ее стыдливость виде, если он хочет, чтобы она приняла его за посланца небес? Жанна! Церковь наставляет тебя, говоря: твои видения суть не что иное, как демоны, ищущие погубить твою душу. Повинуешься ли ты наставлениям Церкви?

Жанна. Я повинуюсь вестнику воли Божьей. Разве тот, кто верит в Церковь, может его отвергнуть?

Кошон. Несчастная! Вторично спрашиваю тебя: понимаешь ли ты, что ты говоришь?

Инквизитор. Вы тщетно боретесь с дьяволом за ее душу, монсеньор. Она не хочет спасения. Теперь, что касается мужского платья. Жанна, ответь мне в последний раз: согласна ли ты снять этот бесстыдный наряд и одеться, как подобает твоему полу?

Жанна. Нет.

Д’Эстиве (с наскоком). Грех непослушания, монсеньор!

Жанна (в расстройстве). Но мои голоса велят мне одеваться, как солдату.

Ладвеню. Жанна, Жанна, но ведь это же и доказывает, что твои голоса — голоса злых духов. Почему бы Ангел Господень стал давать тебе такой бесстыдный совет? Можешь ты указать мне хоть одну разумную причину?

Жанна. Конечно, могу. Это же ясно как Божий день. Я была солдатом и жила среди солдат. Теперь я пленница, и меня стерегут солдаты. Если б я одевалась, как женщина, они бы и думали обо мне, как о женщине, — и что тогда было бы со мной? А когда я одеваюсь, как солдат, они и думают обо мне, как о солдате, и я могу жить бок о бок с ними, как дома жила бок о бок с моими братьями. Вот почему святая Екатерина не велела мне одеваться в женское платье, пока она не разрешит.

Курсель. А когда она тебе разрешит?

Жанна. Когда вы изымете меня из рук английских солдат. Я уже говорила вам: я должна быть в руках Церкви, а не оставаться день и ночь в одной комнате с четырьмя солдатами графа Уорика. Да что бы со мной было, будь я в юбках!

Ладвеню. Монсеньор, то, что она говорит, конечно, неправильно и нечестиво, но в этом есть крупица житейской мудрости, весьма убедительная для деревенской простушки.

Жанна. Кабы мы в деревне были такими простаками, как вы здесь, в ваших судах и дворцах, так скоро не стало бы пшеницы и не из чего было бы печь вам хлеб.

Кошон. Вот вам благодарность за ваши старания спасти ее, брат Мартин.

Ладвеню. Жанна! Мы все хотим спасти тебя. Его преосвященство всеми силами старался спасти тебя. Инквизитор проявил величайшее беспристрастие; большего он не мог бы сделать и для родной дочери. Но ты ослеплена гордыней и самомнением.

Жанна. Ну зачем вы так! Я ничего плохого не сказала. Я не понимаю.

Инквизитор. Святой Афанасий[22] говорит, что те, кто не понимает, пойдут в ад. Простоты еще мало, чтобы спастись. Даже того, что простые люди зовут добротой, тоже еще мало. Простота помраченного ума не лучше простоты животных.

Жанна. А я вам скажу, что в простоте животных есть иногда великая мудрость, а в учености ваших мудрецов — великая глупость.

Ладвеню. Мы это знаем, Жанна. Не такие уж мы тупицы, как ты думаешь. Постарайся побороть соблазн, воздержись от дерзких ответов. Знаешь ли ты, кто этот человек, что стоит за твоей спиной? (Показывает на палача.)

Жанна (оборачивается и смотрит на него). Ваш палач? Но епископ сказал, что меня не будут пытать.

Ладвеню. Тебя не будут пытать потому, что ты сама призналась во всем, что необходимо для твоего осуждения. Этот человек не только пытает, он и казнит. Палач, отвечай на мои вопросы. И пусть Дева услышит твои ответы. Все ли готово для того, чтобы сегодня сжечь еретичку?

Палач. Да, господин.

Ладвеню. И костер уже сложен?

Палач. Да. На рыночной площади. Англичане сделали очень высокий костер — я не смогу приблизиться к осужденной и облегчить ее смерть. Это будет мучительная смерть.

Жанна (в ужасе). Как? Вы хотите меня сжечь?.. Теперь?.. Сейчас?..

Инквизитор. Наконец-то ты поняла.

Ладвеню. Восемьсот английских солдат ждут у ворот. В ту минуту, когда приговор об отлучении от Церкви будет произнесен твоими судьями, солдаты возьмут тебя и отведут на рыночную площадь. До этого осталось несколько мгновений.

Жанна (в отчаянии озирается, ища помощи). Боже мой!

Ладвеню. Не отчаивайся, Жанна. Церковь милосердна. Ты еще можешь спастись.

Жанна (с возродившейся надеждой). Да, да! Мои голоса обещали, что меня не сожгут. Святая Екатерина велела мне быть смелой.

Кошон. Женщина! Или ты совсем безумна? Разве ты не видишь, что твои голоса обманули тебя?

Жанна. Нет, нет! Этого не может быть!

Кошон. Не может быть? Они прямой дорогой привели тебя к отлучению от Церкви и к костру, который ждет тебя на площади.

Ладвеню (спеша усилить действие этих доводов). Сдержали ли они хоть одно из своих обещаний, после того как ты попала в плен под Компьеном? Дьявол обманул тебя, Жанна! Церковь простирает к тебе руки!

Жанна (в отчаянии). Да, это правда. Это правда: мои голоса обманули меня. Бесы надсмеялись надо мной… Моя вера сломлена… Я дерзала… я дерзала, как они велели… Но только сумасшедший сам полезет в огонь. Не может быть, чтобы Бог этого хотел, а то зачем бы он даровал мне разум?

Ладвеню. Хвала Господу! Ибо он спас тебя в последний час. (Бежит к свободному стулу за столом для писцов и, схватив лист бумаги, садится и начинает торопливо писать.)

Кошон. Аминь!

Жанна. Что я должна сделать?

Кошон. Подписать торжественное отречение от твоей ереси.

Жанна. Подписать? То есть написать свое имя? Я не умею писать.

Кошон. Но ты ведь раньше подписывала множество писем.

Жанна. Да, но всегда кто-нибудь держал мне руку и водил пером. Я могу поставить свой знак.

Капеллан (который слушал все это с растущим беспокойством и возмущением). Монсеньор, вы что, в самом деле позволите этой женщине ускользнуть от нас?

Инквизитор. Все совершается по закону, мессир де Стогэмбер. А что гласит закон, вы сами знаете.

Капеллан (вскакивает, багровый от ярости). Я знаю, что ни одному французу нельзя верить!

Общий шум.

(Всех перекрикивает.) Я знаю, что скажет мой господин, кардинал Винчестерский, когда услышит об этом! Я знаю, что сделает граф Уорик, когда узнает, что вы хотите его предать! У нас тут восемьсот солдат, и уж они позаботятся о том, чтоб эта мерзкая ведьма была сожжена, наперекор всем вашим хитростям!

Асессоры (выкрикивают то один, то другой, пока говорит капеллан). Что такое? Что он сказал? Обвиняет нас в измене? Неслыханно! Ни одному французу нельзя верить! Нет, вы слышали? Что за невозможный человек! Да кто он такой? Это в Англии все священники такие? Пьян он, что ли? Или сумасшедший? (И т. д.)

Инквизитор (встает). Прошу замолчать! Господа, прошу всех замолчать! Капеллан! Вспомните на мгновение о своих священных обязанностях, о том, кто вы и где вы. Предлагаю вам сесть.

Капеллан (решительно складывает руки на груди; лицо его все дергается от гнева). Не буду сидеть.

Кошон. Брат инквизитор, этот человек уже не первый раз называет меня в глаза изменником.

Капеллан. А вы и есть изменник. Вы все изменники. Что вы тут сегодня делали? Ползали на коленях перед этой гнусной ведьмой и всячески ее умасливали, чтобы она только отреклась!

Инквизитор (спокойно усаживается на свое место). Ну, не хотите сидеть, так стойте. Пожалуйста.

Капеллан. Не буду стоять. (С размаху садится.)

Ладвеню (встает с бумагой в руках). Монсеньор, вот я и составил отречение. Деве остается только подписать.

Кошон. Прочитайте ей.

Жанна. Не трудитесь. Я и так подпишу.

Инквизитор. Женщина, ты должна знать, к чему прикладываешь руку. Читайте, брат Мартин. А всех остальных прошу молчать.

Ладвеню (медленно читает). Я, Жанна, обычно именуемая Девой, жалкая грешница, признаю себя виновной в следующих тяжких преступлениях. Я ложно утверждала, что получаю откровения от Бога, ангелов его и святых угодников, и, упорствуя в своей неправоте, отвергала предостережения Церкви, внушавшей мне, что видения мои суть соблазн дьявольский. Я мерзко кощунствовала перед Богом, ибо носила нескромный наряд, осужденный Священным писанием и канонами Церкви. Я также стригла волосы по-мужски, и, отринув женскую кротость, столь приятную Богу, я взяла меч и запятнала себя пролитием человеческой крови, ибо побуждала людей убивать друг друга и обманывала их, вызывая злых духов и кощунственно выдавая внушения демонов за волю Всевышнего. Я признаю себя виновной в грехе мятежа, в грехе идолопоклонства, в грехе непослушания, в грехе гордости и в грехе ереси. От всех этих грехов я ныне отрекаюсь и отказываюсь, и обещаюсь не грешить больше, и смиренно благодарю вас, докторов и магистров, вновь открывших мне путь к истине и благодати. И я никогда не вернусь к своим заблуждениям, но буду верна Святой Церкви и послушна его святейшему папе римскому. И во всем том я клянусь Богом всемогущим и святым Евангелием и в знак сего подписываю под этим отречением свое имя.

Инквизитор. Ты поняла, Жанна?

Жанна (безучастно). Чего ж тут не понять. Все ясно.

Инквизитор. И ты подтверждаешь, что это правда?

Жанна. Может, и правда. Кабы не было правдой, так костер не ждал бы меня на рыночной площади.

Ладвеню (взяв перо и книгу, быстро подходит к ней, видимо опасаясь, как бы она опять не сказала лишнего). Ну, дитя мое, подпишем. Я буду водить твоей рукой. Возьми перо.

Она берет, и они начинают вместе писать, положив лист на Библию.

И-о-а-н-н-а. Хорошо. Теперь уже сама поставь свой знак.

Жанна (ставит крест и, удрученная, возвращает перо, душа ее восстает против того, на что толкает ее рассудок и телесный страх). Вот!

Ладвеню (кладет перо обратно на стол и с поклоном вручает отречение епископу). Восхвалим Господа, братие, ибо заблудшая овца вновь приобщена к стаду; и пастырь радуется о ней больше, чем о девяносто девяти праведниках. (Возвращается на свое место.)

Инквизитор (берет отречение у Кошона). Объявляем, что этим актом отречения ты избавлена от грозившей тебе опасности отлучения от Церкви. (Бросает бумагу на стол.)

Жанна. Спасибо.

Инквизитор. Но так как ты в гордыне своей тяжко согрешила против Бога и Святой Церкви, то, дабы не было у тебя соблазна снова впасть в заблуждение и дабы ты могла в молитвенном уединении оплакать совершенные тобой ошибки, и смыть свои грехи покаянием, и в смертный твой час незапятнанной предстать перед Богом, мы, ради блага твоей души, осуждаем тебя отныне и до конца твоих дней на земле вкушать хлеб скорби и пить воду горести в вечном заточении.

Жанна (встает, охваченная ужасом и неудержимым гневом). В вечном заточении! Как? Значит, меня не отпустят?

Ладвеню (кротко изумляется). Отпустить тебя, после всех твоих прегрешений?.. Ты бредишь, дитя!

Жанна. Дайте мне эту бумагу. (Подбегает к столу, хватает отречение и рвет его на куски.) Зажигайте свой костер! Лучше сгореть, чем так жить — как крыса в норе! Мои голоса были правы.

Ладвеню. Жанна! Жанна!

Жанна. Да. Они сказали мне, что вы все дураки.

Всеобщее возмущение.

Жанна. И что я не должна слушать ваши сладкие речи и верить вашему милосердию. Вы обещали мне жизнь. Но вы солгали.

Негодующие восклицания.

Жанна. По-вашему жить — это значит только не быть мертвым! — Хлеб и вода — это мне не страшно. Я могу питаться одним хлебом; когда я просила большего? И разве плохо пить воду, если она чиста? В хлебе нет для меня скорби и в воде нет горести. Но запрятать меня в каменный мешок, чтобы я не видела солнца, полей, цветов; сковать мне ноги, чтоб никогда уже не пришлось мне проскакать по дороге верхом вместе с солдатами или взбежать на холм; заставить меня в темном углу дышать плесенью и гнилью; отнять у меня все, что помогало мне сохранить в сердце любовь к Богу, когда из-за вашей злобы и глупости я готова была его возненавидеть, — да это хуже, чем та печь в Библии, которую семь раз раскаляли огнем! Я согласна; пусть у меня возьмут боевого коня; пусть я буду путаться в юбках; пусть мимо проедут рыцари и солдаты с трубами и знаменами, а я буду только смотреть им вслед в толпе других женщин! Лишь бы мне слышать, как ветер шумит в верхушках деревьев, как заливается жаворонок в сияющем весеннем небе, как блеют ягнята свежим морозным утром, как звонят мои милые-милые колокола и голоса ангелов доносятся ко мне по ветру. Но без этого я не могу жить. И раз вы способны отнять все это у меня или у другого человеческого существа, то я теперь твердо знаю, что ваш совет от дьявола, а мой — от Бога!

Асессоры (в страшном волнении). Кощунство! Кощунство! В нее вселились бесы! Она говорит, наш совет от дьявола! А ее от Бога! Чудовищно! Дьявол среди нас! (И т. д.)

Д’Эстиве (стараясь перекричать шум). Она снова впала в ересь! Нераскаявшаяся еретичка, неисправимая, недостойная милосердия, которое мы ей оказали! Я требую ее отлучения!

Капеллан (палачу). Зажигай огонь! На костер ее!

Палач и его помощники торопливо уходят во двор.

Ладвеню. Безумная! Если твой совет от Бога, почему же Бог не освободил тебя?

Жанна. Его пути — не ваши пути. Он хочет, чтобы я пришла к нему сквозь пламя. Я его дитя, а вы недостойны, чтобы я жила среди вас. Вот вам мое последнее слово.

Солдаты хватают ее.

Кошон (встает). Погодите! Еще не время.

Солдаты останавливаются. Наступает мертвая тишина. Кошон обращает к Инквизитору вопросительный взгляд. Тот утвердительно кивает. Оба встают и начинают торжественно возглашать по очереди, как два хора при пении антифона.

Мы объявляем, что ты нераскаявшаяся еретичка, повторно впавшая в ересь.

Инквизитор. Отколовшаяся от единства Церкви.

Кошон. Отрезанная от ее тела.

Инквизитор. Зараженная проказой ереси.

Кошон. Уд сатаны.

Инквизитор. Мы постановляем, что ты подлежишь отлучению от Церкви.

Кошон. И ныне мы извергаем тебя вон, отчуждаем от тела Церкви и передаем в руки светской власти.

Инквизитор. Призывая помянутую светскую власть обойтись с тобой с возможной кротостью без пролития крови и отсечения членов. (Садится.)

Кошон. И в случае искреннего твоего раскаяния позволить брату Мартину дать тебе святое причастие.

Капеллан. В огонь ведьму! (Бросается к Жанне и помогает солдатам вытащить ее из зала.)

Жанну увлекают во двор. Асессоры встают в беспорядке и уходят следом за солдатами; все, кроме Ладвеню, который стоит, закрыв лицо руками.

Кошон (только что собравшись сесть, опять встает). Нет, нет, это не по форме! Представитель светской власти должен сам прийти сюда и взять ее у нас.

Инквизитор (тоже встал). Этот капеллан неисправимый осел!

Кошон. Брат Мартин, присмотрите, чтобы все было сделано по правилам.

Ладвеню. Нет, монсеньор, мое место возле нее. Придется вам уж самому распорядиться. (Поспешно уходит.)

Кошон. Что за невозможные люди эти англичане! Поволокли ее прямо на костер! Смотрите! (Показывает на арки, выходящие во двор, где ясный свет майского утра уже становится багровым от пронизывающих его отблесков пламени.)

В зале суда остались только епископ и Инквизитор.

Кошон (направляясь к выходу.) Надо их остановить.

Инквизитор (спокойно.) Да, монсеньор. Но спешить с этим не надо.

Кошон (останавливаясь.) Но ведь нельзя терять ни минуты!

Инквизитор. Суд был проведен безукоризненно. Мы ни в чем не погрешили против принятого порядка. А если англичане вздумали теперь его нарушить, так не наше дело их поправлять. Это даже неплохо, что будет какое-то нарушение судебной процедуры, — впоследствии может пригодиться, почем знать! А для этой бедной девушки чем скорее все кончится, тем лучше.

Кошон (успокаиваясь.) Это верно. Но, кажется, нам полагается присутствовать при этом ужасе?

Инквизитор. Ничего, привыкнешь. Привычка — это все. Я привык к пламени костров; оно горит недолго. Но, правда, ужасно видеть, как такое юное и невинное существо гибнет, раздавленное этими двумя мощными силами — Церковью и Законом.

Кошон. Невинное! Вы считаете, что она невинна?

Инквизитор. Ну конечно же. Совершенно невинна. Что она знает о Церкви и Законе? Она ни слова не поняла из всего, что мы говорили. Платятся всегда те, кто прост душою. Идемте, а то опоздаем.

Кошон (направляясь к выходу вместе с Инквизитором.) Я бы не прочь опоздать. Я не так привычен к этим делам, как вы.

Идут к арке; внезапно навстречу им со двора входит Уорик.

Уорик. Ах, простите. Я думал, все уже кончено. (Делает вид, что хочет удалиться.)

Кошон. Не уходите, милорд. Суд кончен.

Инквизитор. Исполнение приговора не в наших руках, милорд. Но желательно, чтобы мы присутствовали при конце. Поэтому, с вашего позволения… (Кланяется и выходит во двор.)

Кошон. Говорят, ваши соотечественники весьма грубо нарушили законные формы, милорд.

Уорик. Говорят, вы не имели права держать суд в этом городе, монсеньор. Он не в вашей епархии. Но если вы отвечаете за это, я отвечу за остальное.

Кошон. Да. Мы оба ответим перед Богом. Прощайте, ваше сиятельство.

Уорик. Прощайте, ваше преосвященство.

Мгновение смотрят друг на друга с нескрываемой враждебностью. Затем Кошон уходит вслед за Инквизитором.

Уорик (оглядывается и, видя, что он один, громко зовет.) Эй, кто-нибудь!

Молчание.

Уорик. Эй, пажи!

Молчание.

Уорик. Брайан! Куда ты запропастился, дрянной мальчишка!

Молчание.

Уорик. Караульный!

Молчание.

Уорик. Все побежали смотреть. Даже этот ребенок.

Тишину нарушают странные звуки — не то рев, не то рыдания: как будто кто-то плачет и вопит во весь голос.

Уорик. Что за черт?..

Со двора, шатаясь, вбегает капеллан: он похож на помешанного, лицо залито слезами, с губ срываются те горестные вопли, которые слышал Уорик. Он натыкается на табурет для обвиняемого и падает на него, захлебываясь от рыданий. Уорик подходит к нему и похлопывает его по плечу.

Уорик. Что такое, мессир Джон? Что случилось?

Капеллан (хватая его за руки.) Милорд, милорд! Ради всего святого, молитесь о моей грешной душе!

Уорик (успокаивает его.) Хорошо, хорошо, я помолюсь. Разумеется помолюсь. Ну, тихо, тихо. Успокойтесь.

Капеллан (жалостно всхлипывая.) Я не злой человек, милорд.

Уорик. Ну конечно же, не злой.

Капеллан. Я по неведению… Я не представлял себе, как это будет…

Уорик (лицо его застывает.) А! Вы были там?

Капеллан. Я сам не понимал, что делаю. Я глупец, сумасбродный глупец! А теперь я буду проклят за это во веки веков.

Уорик. Вздор. Конечно, все это весьма прискорбно. Но ведь не вы же это сделали.

Капеллан (жалобно.) Я это допустил. Если бы я знал, я бы вырвал ее у них из рук. Вы не знаете, вы не видели… Так легко говорить, когда не знаешь… Говоришь, а сам пьянеешь от своих слов, и хочется еще больше подлить масла в пылающий ад своего гнева… Но когда, наконец, понял, когда видишь, что ты наделал, когда это слепит тебе глаза, и душит за горло, и жжет тебе сердце… (Падает на колени.) О Господи, сделай, чтобы я этого не видел! О Иисусе Христе, погасите этот огонь, ожигающий меня! Она воззвала к тебе из пламени: «Иисусе! Иисусе! Иисусе!» Теперь она в лоне твоем, а я в аду на веки вечные!

Уорик (бесцеремонно поднимает его на ноги.) Ну, хватит! Надо все-таки владеть собой. Или вы хотите сделаться сказкой всего города? (Без особой нежности усаживает его на стул возле стола.) Если не выносите таких зрелищ, так нечего было туда ходить. Я, например, никогда не хожу.

Капеллан (присмирев.) Она попросила дать ей крест. Какой-то солдат связал две палочки крест-накрест и подал ей. Слава Богу, это был англичанин! Я бы тоже мог это сделать. Но я не сделал. Я трус, бешеная собака, безумец! Но он тоже был англичанин.

Уорик. Ну и дурак. Его самого сожгут, если попы до него доберутся.

Капеллан (содрогаясь.) Какие-то люди в толпе смеялись. Они бы и над Христом стали смеяться. Это были французы, милорд. Я знаю, это были французы.

Уорик. Тише! Кто-то идет. Сдержитесь.

Ладвеню входит со двора и останавливается справа от Уорика. В руках у него епископский крест, взятый из церкви. Выражение лица торжественное и строгое.

Уорик. Я слышал, что все уже кончилось, брат Мартин.

Ладвеню (загадочно.) Как знать, милорд. Может быть, только началось.

Уорик. Это что, собственно, значит?

Ладвеню. Я взял этот крест из церкви, чтобы она могла его видеть до самого конца. У нее не было креста, только две палочки, связанные крест-накрест. Она спрятала их у себя на груди. Когда пламя уже охватило ее и она увидела, что я сам сгорю, если еще буду держать перед ней крест, она крикнула мне, чтобы я отошел и не подвергал себя опасности. Милорд! Девушка, которая в такую минуту могла тревожиться за другого, не была научена дьяволом. Когда мне пришлось убрать крест, она подняла глаза к небу. И я верю, что небеса в этот миг не были пусты. Я твердо верю, что Спаситель явился ей в сиянии любви и славы. Она воззвала к нему и умерла. Для нее это не конец. Это только начало.

Уорик. Гм. Боюсь, это произвело на толпу нежелательное впечатление.

Ладвеню. Да, милорд, на некоторых. Я слышал смех. Я надеюсь, — простите, милорд, что я так говорю, — но я надеюсь и верю, что это смеялись англичане.

Капеллан (вскакивает в отчаянии.) Нет! Нет! Это не англичане! Там был только один англичанин, опозоривший свою родину, — этот бешеный пес де Стогэмбер! (С диким криком устремляется к выходу.) Его надо пытать! Его надо сжечь! Я пойду молиться над ее пеплом. Я не лучше Иуды. Пойду удавлюсь.

Уорик. Брат Мартин! За ним! Скорее! Он что-нибудь сделает над собой. Бегите!

Ладвеню спешит к выходу, понукаемый Уориком. Из двери за судейскими креслами выходит палач, и Уорик, возвращаясь, сталкивается с ним лицом к лицу.

Что тебе здесь нужно, молодчик? Кто ты такой?

Палач (с достоинством.) Я не молодчик, ваше сиятельство. Я мастер. Присяжный палач города Руана. Это дело требует высокого мастерства. Я пришел доложить вам, милорд, что ваши приказания выполнены.

Уорик. Мои глубочайшие извинения, мастер палач. Я позабочусь, чтобы вы не потерпели убытка из-за того, что у вас не осталось, так сказать, сувениров для продажи. Но я могу положиться на ваше слово? Да? Никаких останков — ни косточки, ни ногтя, ни волоска!

Палач. Сердце ее не сгорело, милорд. Но все, что осталось, сейчас на дне реки. Вы больше никогда о ней не услышите.

Уорик (криво усмехается, вспомнив слова Ладвеню.) Никогда? Гм! Как знать!

Эпилог

Беспокойная ветреная ночь в июне 1456 года: то и дело сверкают зарницы: перед этим долго стояла жара. Король Франции Карл VII, бывший во времена Жанны дофином, а теперь Карл Победоносный (сейчас ему пятьдесят один год), лежит в постели в одном из своих королевских замков. Кровать стоит на возвышении, к которому ведут две ступеньки, и расположена ближе к одному из углов комнаты, чтобы не загораживать высокое стрельчатое окно в середине задней стены. Над кроватью балдахин с вышитыми на нем королевскими гербами. Если не считать балдахина и огромных пуховых подушек, то в остальном кровать напоминает широкую тахту, застланную простынями и одеялами: спинки в изножий нет, и ничто не заслоняет лежащего на кровати. Карл не спит: он читает в постели или, вернее, разглядывает миниатюры Фуке в томике Боккаччо, оперев книгу на поднятые колени, как на пюпитр. Слева от кровати — столик; на нем икона Богоматери, озаренная пламенем двух свечей из цветного воска. Стены от потолка до полу завешаны гобеленами, которые по временам колеблются от сквозняка. В этих тканых картинах преобладают желтые и красные тона, и, когда ветер развевает их, кажется, что по стенам бегут языки пламени. В стене слева от Карла — дверь, но не прямо против кровати, а наискось, ближе к авансцене. На постели, под рукой у Карла, лежит большая трещотка, вроде тех, что употребляют ночные сторожа, но изящной формы и пестро раскрашенная. Карл переворачивает страницу. Слышно, как где-то вдали колокол мелодично отбивает полчаса. Карл захлопывает книгу, бросает ее на постель и, схватив трещотку, энергично крутит ею в воздухе. Оглушительный треск.

Входит Ладвеню. Он на двадцать пять лет старше, чем был во время суда над Жанной, держится очень прямо и торжественно: в руках у него епископский крест, как и в прошлый раз. Карл, видимо, его не ждал, он мгновенно спрыгивает с кровати на ту сторону, что дальше от двери.

Карл. Кто вы такой? Где мой постельничий? Что вам нужно?

Ладвеню (торжественно). Я принес радостные вести. Возрадуйся, о король, ибо смыт позор с твоего рода и пятно с твоей короны. Справедливость долго ждала своего часа, но наконец восторжествовала.

Король. О чем вы говорите? Кто вы?

Ладвеню. Я брат Мартин.

Карл. А, извините меня, кто это такой — брат Мартин?

Ладвеню. Я держал крест перед Девой, когда она испустила дух среди пламени. Двадцать пять лет прошло с тех пор. Без малого десять тысяч дней. И каждый день я молил Бога оправдать дочь свою на земле, как он оправдал ее на небесах.

Карл (успокоившись, садится в изножий кровати). А, ну теперь помню. Слыхал я про вас. У вас еще этакий заскок в голове насчет Девы. Вы были на суде?

Ладвеню. Я давал показания.

Карл. Ну и что там? Кончилось?

Ладвеню. Кончилось.

Карл. А как решили? В желательном для нас смысле?

Ладвеню. Пути Господни неисповедимы.

Карл. То есть?

Ладвеню. На том суде, который послал святую на костер как чародейку и еретичку, говорили правду, закон был соблюден; было оказано милосердие даже сверх обычая, не было совершено ни единой несправедливости, кроме последней и страшной несправедливости — лживого приговора и безжалостного огня. На этом суде, с которого я сейчас пришел, было бесстыдное лжесвидетельство, подкуп судей, клевета на умерших, некогда старавшихся честно выполнить свой долг, как они его понимали, трусливые увертки, показания, сплетенные из таких небылиц, что и безграмотный деревенский парень отказался бы в них поверить. И, однако, из этого надругательства над правосудием, из этого поношения Церкви, из этой оргии лжи и глупости воссияла истина, как полуденное солнце на верху горы. Белое одеяние невинности отмыто от сажи, оставленной на нем обугленными головнями; верное сердце, уцелевшее средь пламени, оправдано; чистая жизнь освящена; великий обман развеян, и великая несправедливость исправлена перед людьми.

Карл. Друг мой, да ведь мне что нужно? Чтобы никто больше не мог сказать, что меня короновала ведьма и еретичка. А уж как этого добились — не все ли равно? Я, во всяком случае, из-за этого волноваться не стану. И Жанна бы не стала; она была не из таких, я ее хорошо знал. Значит, полное оправдание? Я им, кажется, ясно сказал, чтобы чисто было сработано.

Ладвеню. Торжественно объявлено, что судьи Девы были повинны в умышленном обмане, лицеприятии, подкупности и злобе. Четырехкратная ложь.

Карл. Неважно. Судьи все уже умерли.

Ладвеню. Их приговор отменен, упразднен, уничтожен, объявлен недействительным, не имеющим обязательности и силы.

Карл. Очень хорошо. Значит, никто уж теперь не может оспаривать законность моей коронации?

Ладвеню. Ни Карл Великий, ни сам царь Давид не были коронованы более законно.

Карл (встает). Великолепно! Вы понимаете, что это значит для меня?

Ладвеню. Я стараюсь понять, что это значит для нее.

Карл. Ну, где вам. Никто из нас никогда не мог наперед сказать, как она примет то или другое. Она была совсем особенная, ни на кого не похожая. И теперь пусть уж сама о себе заботится, где она там ни есть. Потому что я ничего не могу для нее сделать. И вы не можете; не воображайте, будто можете. Не по вас это дело. Я вам только одно скажу; если б даже вы могли вернуть ее к жизни; через полгода ее бы опять сожгли, хоть сейчас и бьют перед ней поклоны. И вы бы опять держали крест, как в тот раз. Так что (крестится) царствие ей небесное, а мы давайте-ка будем заниматься своим делом, а в ее дела не вмешиваться.

Ладвеню. Да не допустит Бог, чтобы я не был причастен к ней и она ко мне! (Поворачивается и выходит, говоря.) Отныне путь мой будет не ко дворцам и беседа моя будет не с королями.

Карл (идет за ним к двери и кричит ему вслед.) И благо вам да будет, святой человек! (Возвращается на середину комнаты и говорит, посмеиваясь.) Вот чудак-то! Но как он сюда вошел? И куда по девались все слуги? (С жестом нетерпения идет к кровати и, схватив трещотку, машет ею в воздухе.)

В открытую дверь врывается ветер; занавеси развеваются, по стенам бегут волны. Свечи гаснут.

(Кричит в темноте.) Эй, кто-нибудь! Идите сюда, закройте окна! Ветер тут все сметет!

Вспышка молнии. На миг ясно видно стрельчатое окно и на его фоне — темная человеческая фигура.

Кто там? Кто это? Караул! Режут!

Удар грома. Карл кидается в постель и с головой прячется под одеяло.

Голос Жанны. Ну что ты, что ты, Чарли? Зачем так кричать? Все равно никто не услышит. Ведь это все во сне. Ты спишь и видишь сон.

Разливается тусклый, зеленоватый свет; видно, что Жанна уже стоит возле кровати.

Карл (выглядывает из-под одеяла.) Жанна! Ты что — привидение?

Жанна. Какой там! Меня же, бедную, сожгли. Я даже привидением не могу быть. Я всего-навсего твой сон.

Свет становится ярче. Теперь оба ясно видны. Карл вылезает из-под одеяла и садится на постели.

Ты, однако, постарел, дружочек.

Карл. Так ведь сколько лет прошло. Я что, на самом деле сплю?

Жанна. Ну да. Заснул над своей глупой книжкой.

Карл. Странно!

Жанна. А что я мертвая, это тебе не странно?

Карл. А ты правда мертвая?

Жанна. Да уж мертвее не бывает. Я теперь один только дух. Без тела.

Карл. Ишь ты! Скажи пожалуйста! И очень это было больно?

Жанна. Что?

Карл. А вот когда тебя сожгли.

Жанна. Ах, это! Да я уж и не помню. Сначала, кажется, было больно, но потом все спуталось, и дальше я уж была вроде как не в себе, пока не высвободилась из тела. Ты только не вздумай поэтому совать руки в огонь — не надейся, что он не горячий! Ну а как тебе тут жилось все эти годы?

Карл. Да ничего себе. Ты, может, не знаешь, а ведь я потом сам водил армии в бой и выигрывал сражения. Сам лазил в ров, по пояс в грязи и в крови, и на осадную лестницу под дождем из камней и кипящей смолы. Как ты.

Жанна. Нет, правда? Значит, мне все-таки удалось сделать из тебя человека, Чарли?

Карл. Я теперь Карл Победоносный. Пришлось быть храбрым, потому что ты была храбра. Ну и Агнес меня немножко подбодрила.

Жанна. Агнес? Это кто такая?

Карл. Агнес Сорель. Одна женщина, в которую я был влюблен. Я часто вижу ее во сне. А тебя никогда не видал до этого раза.

Жанна. Она тоже умерла, как и я?

Карл. Да, но она была не такая, как ты. Она была очень красива.

Жанна (весело смеется). Ха, ха! Да, уж меня никто бы не назвал красавицей. Я была малость грубовата, настоящий солдат. Почти как мужчина. И жаль, что я не родилась мужчиной — меньше было бы от меня беспокойства. А впрочем, нет: душой я всегда стремилась ввысь, и слава Господня сияла передо мной. Так что, мужчина или женщина, а я бы все равно не оставила вас в покое, пока вы сидели, увязнув носами в болоте. Но скажи мне, что произошло с того дня, когда вы, умники, не сумели ничего лучше придумать, как превратить меня в горсточку пепла?

Карл. Твоя мать и твои братья обратились в суд с требованием пересмотреть твое дело. И суд постановил, что твои судьи были повинны в умышленном обмане, лицеприятии, подкупности и злобе.

Жанна. Ну и неверно. Они судили честно. Дураки, конечно, были. Этакие честные глупцы всегда жгут тех, кто поумнее. Но эти были не хуже других.

Карл. Приговор над тобой отменен, упразднен, уничтожен, объявлен недействительным, не имеющим обязательности и силы.

Жанна. Да ведь меня сожгли. Что они, могут меня воскресить?

Карл. Кабы могли, так еще очень бы подумали, раньше чем это сделать. Но они решили воздвигнуть красивый крест на том месте, где был костер, чтобы освятить и увековечить твою память.

Жанна. Не этот крест освятит мою память, а память обо мне освятит этот крест. (Отворачивается от Карла и отходит, забыв о нем.) Я переживу этот крест. Обо мне будут помнить и тогда, когда люди забудут даже, где стоял Руан.

Карл. Вот оно, твое самомнение! Ты, видно, ни чуточки не исправилась. Могла бы, кажется, хоть спасибо мне сказать за то, что я добился в конце концов справедливости.

Кошон (появляясь у окна между Карлом и Жанной). Лжец!

Карл. Благодарю вас.

Жанна. Ба! Да это Пьер Кошон! Как поживаешь. Пьер? Ну что, сладко тебе жилось после того, как ты меня сжег?

Кошон. Нет. Не сладко. Но я отвергаю приговор людского правосудия. Это не правосудие Божье.

Жанна. Все мечтаешь о правосудии? А ты вспомни, что твое правосудие со мной сделало, а? Ну ладно. Расскажи лучше, что с тобой-то. Ты жив или умер?

Кошон. Умер. И опозорен. Меня преследовали даже за гробом. Мое мертвое тело предали анафеме, откопали из могилы и выбросили в сточную канаву.

Жанна. Твое мертвое тело не чувствовало ударов лопаты и зловония канавы, как мое живое тело чувствовало огонь.

Кошон. Но то, что сделали со мной, оскорбляет правосудие, разрушает веру, подрывает основы Церкви. Твердая земля колеблется, как вероломное море, под ногами у людей и духов, когда невинных убивают во имя закона и когда их обиды пытаются исправить тем, что клевещут на чистых сердцем.

Жанна. Ну, Пьер, ты уж очень-то не огорчайся. Я надеюсь, что память обо мне будет людям на пользу. А они бы не запомнили меня так крепко, если бы ты меня не сжег.

Кошон. Но память обо мне будет им во вред. Ибо во мне они всегда будут видеть победу зла над добром, лжи над правдой, жестокости над милосердием, ада над небом. При мысли о тебе в них будет возгораться мужество, при мысли обо мне — гаснуть. И, однако, Бог мне свидетель, — я был справедлив; я был милосерден, я был верен своим убеждениям, я не мог поступить иначе.

Карл (сбрасывает с себя одеяло и усаживается на краю постели, как на троне). Ну да. Уж это известно. Вы, праведники, всегда больше всех и навредите. А возьмите меня! Я не Карл Добрый, и не Карл Мудрый, и не Карл Смелый. Твои поклонники, Жанна, пожалуй, еще назовут меня Карлом Трусливым за то, что я тогда тебя не вызволил из огня. Но я куда меньше наделал зла, чем вы все. Вы с вашими возвышенными мыслями только и смотрите, как бы перевернуть мир вверх ногами. А я принимаю мир как он есть. И всегда говорю: если уж так устроено, значит так лучше. Я-то от земли не отрываюсь. А позвольте вас спросить, какой король Франции больше принес пользы своей стране? И кто из них был более порядочным человеком, чем я на мой скромный лад?

Жанна. А ты теперь по-настоящему король Франции, Чарли? Англичан прогнали?

Дюнуа появляется из-за занавеса слева от Жанны. В то же мгновение свечи снова зажигаются и ярко освещают его латы и плащ.

Дюнуа. Я сдержал слово: англичан прогнали.

Жанна. Благодарение Богу! Теперь наша прекрасная Франция — Божья страна. Расскажи, как ты сражался, Джек. Ведь это ты вел в бой наши войска, да? Ты был Господним полководцем до самой смерти?

Дюнуа. А я и не умер. Мое тело мирно спит на мягкой постели в Шатодене. Но мой дух явился сюда по твоему зову.

Жанна. И ты воевал по-моему, Джек, а? Не на старый лад — торгуясь из-за выкупа, а так, как воевала Дева: не жалея своей жизни, с отвагой и смирением в сердце, без злобы? Не думая ни о чем, кроме того как сделать Францию свободной и нашей? Ты по-моему воевал, Джек? Скажи!

Дюнуа. Правду сказать, я воевал по-всякому, лишь бы выиграть. Но побеждали мы только тогда, когда воевали по-твоему, — это верно; должен отдать тебе справедливость. Я написал очень красноречивое письмо в твое оправдание и послал его на этот новый суд. Пожалуй, нехорошо, что я в тот раз позволил священникам тебя сжечь. Но мне было некогда, я сражался. И вообще я считал, что это дело Церкви, а не мое. Велика была бы польза, если бы нас обоих сожгли!

Кошон. Да, валите все на священников! Но я, которого уже не может коснуться ни хвала, ни порицание, я говорю вам: не священники и не солдаты спасут мир, а Бог и его святые. Воинствующая Церковь послала эту женщину на костер. Но пока она еще горела, багровое пламя костра стало белым сиянием Церкви Торжествующей.

Колокол отбивает три четверти. Слышно, как грубый мужской голос напевает импровизированный мотив.

Рам-там-трам-пам-пам.

Кусок сала рам-там-там.

Святой старец та-ра-рам.

Хвост по ветру рам-пам-пам.

О-о, Мэ-э-ри-Анн!

Английский солдат, забулдыга по внешности и ухваткам, откидывает занавес, маршируя выходит на середину комнаты и останавливается между Дюнуа и Жанной.

Дюнуа. Какой негодный трубадур обучил тебя этой дурацкой песне?

Солдат. Никакой не трубадур. Мы сами ее сочинили на марше. А мы были не какие-нибудь знатные господа и не трубадуры. Так что это вам музыка прямо из сердца народа.

Рам-там-трам-пам-пам.

Кусок сала рам-там-там.

Святой старец та-ра-рам.

Хвост по ветру рам-пам-пам.

Смысла никакого, но шагать помогает. Тут, кажется, кто-то спрашивал святого? Я к вашим услугам, леди и джентльмены.

Жанна. А ты разве святой?

Солдат. Так точно, миледи. Прямо из ада.

Дюнуа. Святой, а из ада?

Солдат. Да, благородный капитан. В отпуск на сутки. Каждый год дают. Это мне полагается за то, что я раз в жизни сделал доброе дело.

Кошон. Несчастный! За все годы твоей жизни ты совершил одно-единственное доброе дело?

Солдат. А я и не старался. Само вышло. Но мне его все-таки засчитали.

Карл. Что же ты сделал?

Солдат. Да так, пустяки. Глупость, собственно говоря. Я…

Жанна (перебивает его, подходя к кровати, где и усаживается рядом с Карлом). Он связал две палочки крест-накрест и подал их бедной девушке, которую хотели сжечь.

Солдат. Правильно. А вы откуда знаете?

Жанна. Неважно, откуда. Ты бы узнал эту девушку, если бы опять встретил?

Солдат. Ну да, как же! Девушек-то много, и каждая хочет чтобы ты ее помнил, как будто она одна на свете. Но эта-то, видать, была первый сорт, недаром мне за нее каждый год дают отпуск. Так что, пока не пробило полночь, я — святой, к вашим услугам, благородные лорды и прелестные леди.

Карл. А когда пробьет полночь?

Солдат. А когда пробьет, тогда марш обратно, в то самое место, где полагается быть таким, как я.

Жанна (встает). Обратно! Тебе! А ты дал крест этой девушке!

Солдат (оправдываясь в этом недостойном солдата поступке). Так ведь она просила. И ее же собирались сжечь. Что, она не имела права на крест? У тех-то, что ее жгли, крестов было хоть отбавляй, а кто там был главный — они ли она? Ну я и дал ей. Важное дело, подумаешь!

Жанна. Чудак! Я же тебя не корю. Но мне больно думать, что ты терпишь муки.

Солдат (неунывающим тоном). Ну, это что за муки! Я привык к худшему.

Карл. Что? Худшему, чем ад?

Солдат. Пятнадцать лет солдатчины на войне с французами. После этого ад одно удовольствие!

Жанна разводит руками, очевидно отчаявшись в человечестве, ищет прибежища перед иконой богоматери.

Солдат (продолжает). Мне даже нравится. Вот в отпускной день поначалу, правда, бывало скучновато, — вроде как в воскресенье, когда дождик идет. А теперь ничего, привык. И начальство не обижает. Сами говорят: бери, мол, выходных дней сколько хочешь и когда захочешь.

Карл. А каково там, в аду?

Солдат. Да не так уж плохо, сэр. Весело. Вроде как ты всегда выпивши, а тратиться на выпивку не надо. Ни хлопот, ни расходов. И компания знатная — императоры, да папы, да короли, да еще разные на ту же стать. Они меня все шпыняют за то, что я дал крест той девчонке. Ну да и я в долгу не остаюсь. Прямо им говорю: «Кабы не было у нее больше прав на этот крест, чем у вас, так она была бы сейчас там же, где и вы». Ну, тут уж им крыть нечем! Скрежещут на меня зубами на адский манер, а я только смеюсь — и до свиданья! Ухожу себе, распевая нашу старую песенку. Рам-там-трам-па… Эй! Кто там стучит?

Все прислушиваются. Слышен тихий, настойчивый стук в дверь.

Карл. Войдите!

Дверь отворяется. Входит старик священник, седовласый, согбенный, с чуть-чуть безумной, но доброй улыбкой на губах. Торопливыми мелкими шажками идет к Жанне.

Вновь пришедший. Простите меня, благородные господа и дамы. Не хочу вам мешать. Я всего только скромный английский священник, совершенно безобидный старик. Когда-то я был капелланом его высокопреосвященства кардинала Винчестерского. Джон де Стогэмбер, к вашим услугам. (Вопросительно смотрит на остальных.) Вы что-то сказали? Я, к сожалению, немножко туг на ухо. И немножко… как бы сказать?.. ну, не в своем уме, что ли. Но мой приход очень маленький — глухая деревушка, горсточка простых людей… Я справляюсь, ничего, справляюсь. И мои прихожане меня очень любят. А мне удается иногда кое-что для них сделать. У меня, видите ли, есть знатная родня, и они мне не отказывают, если я попрошу.

Жанна. Джон! Бедный старик! Как ты дошел до такого жалкого состояния?

Де Стогэмбер. Я всегда говорю своим прихожанам: надо быть очень осторожным. Я им говорю: «Если вы своими глазами увидите то, о чем думаете, вы совсем иначе станете об этом думать. И это будет жестокий удар для вас. Ах, какой жестокий!» А они мне отвечают: «Да, да, отец Джон, мы все знаем, что вы добрый человек, мухи не обидите». И это для меня большое утешение… потому что, уверяю вас, я совсем не жесток по природе.

Солдат. А кто говорит, что ты жесток?

Де Стогэмбер. А все потому, что не знал, как жестокость выглядит на деле… не видал своими глазами. В этом весь секрет: надо увидеть своими глазами! А тогда уже приходит раскаяние и искупление.

Кошон. Разве крестных мук нашего господа Иисуса Христа для тебя было недостаточно?

Де Стогэмбер. О нет, нет! Это совсем не то. Я видел их на картинках, я читал о них в книгах; и все это очень волновало меня, — то есть так мне казалось. Но это меня ничему не научило. И не Господь искупил меня, а одна молодая девушка, которую сожгли на костре. Я сам видел, как она умирала. Это было ужасно! Ужасно!.. Но это спасло меня. С тех пор я стал другим человеком. Вот только голова у меня бывает иногда не совсем в порядке.

Кошон. Значит, в каждом столетии новый Христос должен умирать в муках, чтобы спасти тех, у кого нет воображения?

Жанна. Ну, если я спасла от его жестокости всех тех, с кем он был бы жесток, если бы не был жесток со мной, так, пожалуй, я умерла не напрасно.

Де Стогэмбер. Вы? О нет, это были не вы! Я уже плохо вижу и не могу разглядеть ваше лицо, но это были не вы, нет, нет! Ту девушку сожгли. Один пепел остался. Она мертва, мертва…

Палач (выходит из-за полога у изголовья кровати, справа от Карла). Она живее, чем ты, старик. Ее сердце не сгорело в огне; оно и в воде не утонуло. Я был мастером в своем ремесле — искуснее, чем палач парижский, чем палач тулузский. Но я не мог убить Деву. Она жива. Она повсюду.

Уорик (появляется из-за полога с другой стороны и подходит к Жанне слева). Сударыня, примите мои искренние поздравления по поводу вашей реабилитации. Боюсь, что должен извиниться перед вами.

Жанна. Ну что вы. Не стоит того.

Уорик (любезно). Ваше сожжение было чисто политической мерой. Лично против вас я решительно ничего не имел. Поверьте мне.

Жанна. Я не держу на вас зла, милорд.

Уорик. Очень мило с вашей стороны, что вы так к этому относитесь. Признак истинной благовоспитанности. Но я все-таки должен принести вам свои глубочайшие извинения. Дело, видите ли, в том, что эта самая политическая необходимость порой оказывается политической ошибкой; и с вами у нас как раз вышел ужасный просчет — ибо ваш дух победил нас, несмотря на все наши костры. Благодаря вам я войду в историю, хотя наши с вами взаимоотношения носили и не совсем дружественный характер.

Жанна. Да, пожалуй, что и не совсем, комик вы этакий!

Уорик. Тем не менее, если вас сопричислят к лику святых, вы своим венцом будете обязаны мне, так же как этот удачливый монарх обязан вам своей короной.

Жанна (отворачиваясь от него). Ничем я и никому не обязана. Я всем обязана духу Божию, который жил во мне. Ну, а насчет святости — куда уж! Что сказали бы святая Екатерина и святая Маргарита, если бы этакую деревенскую простушку да посадили рядом с ними!

Внезапно в углу, справа от присутствующих, появляется клерикального вида господин в черном сюртуке, брюках и цилиндре — по моде 1920 года. Все смотрят на него, потом разражаются неудержимым смехом.

Господин. Почему такое веселье, господа?

Уорик. Поздравляю вас! Вы изобрели поразительно смешной маскарадный костюм.

Господин. Не понимаю. Это вы все в маскарадных костюмах, а я одет прилично.

Дюнуа. Э, дорогой мой, ведь всякое платье в конце концов маскарад, кроме только собственной нашей кожи.

Господин. Простите. Я прибыл сюда по важному делу и не могу тратить время на легкомысленные разговоры. (Достает бумагу и принимает сухой, официальный вид.) Я прислан объявить вам, что дело Жанны д’Арк, ранее известной под именем Девы, поступившее на расследование в особую комиссию, созванную епископом Орлеанским…

Жанна (перебивает). А! Меня, значит, еще помнят в Орлеане!

Господин (строго, выражая голосом свое негодование по поводу того, что его прерывают)…епископом Орлеанским, ныне закончено; ходатайство вышеупомянутой Жанны д’Арк и ее канонизации и причислении к лику святых…

Жанна. Да я никогда не подавала такого ходатайства!

Господин (как выше)…подробно рассмотрено, согласно каноническим правилам, и помянутая Жанна признана достойной вступить в ряды блаженных и преподобных…

Жанна (фыркает). Это я-то преподобная?!

Господин.…вследствие чего Церковь постановляет: считать, что оная Жанна была одарена особыми героическими добродетелями и получала откровения непосредственно от Бога, по каковой причине вышеупомянутая блаженная и преподобная Жанна приобщается отныне к сонму Церкви Торжествующей под именем Святой Иоанны.

Жанна (в упоении). Святая Иоанна!

Господин. Ежегодно тридцатого мая, в годовщину мученической смерти вышеупомянутой блаженной и благословенной дочери Господней, во всех католических церквах от сего дня и до скончания веков будет отправляться особая служба в ее память. Дозволяется и признается законным воздвигать особые часовни в ее память и помещать ее изображение в алтарях таких храмов. И признается законным и похвальным для верующих преклонять колена перед ее изображением, возносить к ней молитвы и просить ее о заступничестве перед престолом Всевышнего.

Жанна. Нет, нет! Не они, а святая должна преклонить колена! (Падает на колени, с тем же выражением экстаза на лице.)

Господин (складывает бумагу и, отступив, становится рядом с палачом). Составлено и подписано в базилике Ватикана шестнадцатого мая тысяча девятьсот двадцатого года.

Дюнуа (поднимает Жанну). Полчаса потребовалось, чтобы сжечь тебя, милая моя святая, — и четыре столетия, чтобы понять, кто ты была на самом деле!

Де Стогэмбер. Сэр, я когда-то состоял капелланом у кардинала Винчестерского. Французы его всегда почему-то называли кардиналом Английским. Очень было бы приятно и мне и моему господину, если бы у нас, в Винчестерском соборе, тоже поставили статую Девы. Как вы думаете, поставят?

Господин. Так как это здание временно находится в руках приверженцев англиканской ереси, то я ничего по этому поводу не могу вам сказать.

За окном возникает видение Винчестерского собора и помещенной в нем статуи Девы.

Де Стогэмбер. Смотрите! Смотрите! Это Винчестер.

Жанна. Это меня, что ли, они изобразили? Ну, я покрепче стояла на ногах.

Видение исчезает.

Господин. Светские власти Франции просили меня упомянуть о том, что статуи Девы, воздвигаемые на улицах и площадях, становятся, ввиду их многочисленности, серьезной помехой для транспорта, — что я и делаю из любезности к помянутым светским властям, но должен при этом заметить в защиту Церкви, что конь Девы является не большей помехой для транспорта, чем всякая другая лошадь.

Жанна. Я очень рада, что они не забыли моего коня.

Возникает видение статуи Жанны д’Арк перед Реймским собором.

А эта смешная фигурка — это тоже я?

Карл. Надо полагать, что ты. Ведь это Реймский собор, где ты меня короновала.

Жанна. А кто же сломал мне меч?[23] Мой меч никогда не был сломан, это меч Франции.

Дюнуа. Не беда. Меч можно починить. Но душа твоя никогда не была сломлена. А ты — это душа Франции.

Видение гаснет. Становится видно, что по бокам Кошона стоят архиепископ Реймский и Инквизитор.

Жанна. Мой меч еще будет побеждать, — меч, которым не было нанесено ни одного удара. Люди сожгли мое тело, но я узрила Бога в сердце своем.

Кошон (преклоняя перед ней колена). Простые девушки, трудящиеся в поле, прославляют тебя, ибо ты научила их отрывать взор от земли. И они увидели, что нет преград между ними и небом.

Дюнуа (преклоняя перед ней колена). Умирающие солдаты прославляют тебя, ибо ты стала щитом доблести между ними и судом Божиим.

Архиепископ (преклоняя перед ней колена). Князья Церкви прославляют тебя, ибо ты вновь возвысила веру, затоптанную в грязь их мирским честолюбием.

Уорик (преклоняя перед ней колена). Хитроумные советники прославляют тебя, ибо ты рассекла узы, коими они опутали свои души.

Де Стогэмбер (преклоняя перед ней колена). Неразумные старики на смертном одре прославляют тебя, ибо грех их против тебя стал им во спасение.

Инквизитор (преклоняя перед ней колена). Судьи, ослепленные и порабощенные законом, прославляют тебя, ибо ты оправдала прозрение и свободу живой души.

Солдат (преклоняя перед ней колена). Грешники в аду прославляют тебя, ибо ты показала им, что огонь неутолимый есть святой огонь.

Палач (преклоняя перед ней колена). Те, кто мучит и кто казнит, прославляют тебя, ибо ты показала, что рука палача неповинна в убиении души.

Карл (преклоняя перед ней колена). Непритязательные прославляют тебя, ибо ты взяла на себя бремя героических деяний, слишком для них тяжелое.

Жанна. Горе мне, если все прославляют меня! Не забывайте, что я святая и что святые могут творить чудеса. Вот я вас спрашиваю: ответьте, хотите ли вы, чтобы я восстала из мертвых и вернулась к вам живая?

Все быстро встают в испуге. Свет внезапно меркнет, стены тонут во мраке, видны только кровать и фигуры стоящих людей.

Как? Значит, если я вернусь, вы опять пошлете меня на костер? И никто не готов меня принять?

Кошон. Еретику лучше всего быть мертвым. А люди земным своим зрением не умеют отличить святую от еретички. Пощади их! (Удаляется тем же путем, как пришел.)

Дюнуа. Прости нас, Жанна. Мы еще недостаточно праведны, чтобы жить с тобой. Вернусь-ка я к себе в постель. (Тоже удаляется.)

Уорик. Мы искренне сожалеем о нашем маленьком промахе. Однако политическая необходимость хоть и приводит иной раз к ошибке, все же остается главным руководителем наших действий. Поэтому, с вашего позволения… (Крадучись уходит.)

Архиепископ. Если ты даже воскреснешь, я от этого не стану таким, каким ты меня когда-то считала. Могу только одно сказать: я не смею благословить тебя, но уповаю, что когда-нибудь ты осенишь меня своей благодатью. Ну, а пока что… (Уходит.)

Инквизитор. Я, ныне умерший, признал в тот день, что ты невинна. Но я не мыслю себе, как можно обойтись без Инквизиции при нынешнем порядке вещей. Поэтому… (Уходит.)

Де Стогэмбер. Ах нет, нет, не воскресайте! Пожалуйста, не надо! Дайте мне умереть спокойно. Мир твой, о Боже, даруй нам при жизни нашей! (Уходит.)

Господин. Возможность вашего воскресения не была предусмотрена во время недавних переговоров о вашей канонизации. Я должен вернуться в Рим за новыми инструкциями. (Чинно кланяется и уходит.)

Палач. Как мастер в своем ремесле, я не имею права забывать об интересах моей профессии. Да и о жене надо подумать, и о детях. Мне нужно время на размышление. (Уходит.)

Карл. Бедная Жанна! Все от тебя убежали. Один этот пропащий остался, которому в полночь надо убираться в пекло. Ну, а я что ж могу сделать?.. Только последовать примеру Дюнуа да лечь спать. (Укладывается в постель.)

Жанна (опечаленная). Спокойной ночи, Чарли!

Карл (бормочет в подушку). Спокойн… ноч… (Засыпает.)

Кровать тонет во мраке.

Жанна (солдату). А ты — единственный, кто мне остался верен, — чем ты утешишь святую Иоанну?

Солдат. Да разве от них чего хорошего дождешься — от всех этих королей, и капитанов, и епископов, и законников, и всей прочей бражки? Пока ты жив — они оставляют тебя истекать кровью в канаве. А попадешь в пекло — глядь, и они все тут! А ведь как нос-то перед тобой задирали! Я тебе, девушка, вот что скажу: ты их не слушай, небось ты не глупей их, а может, еще и поумнее. (Усаживается, готовясь пуститься в рассуждения.) Тут, понимаешь ли, вот в чем все дело: ежели…

Вдалеке слышен первый удар колокола, отбивающего полночь.

Простите… Неотложное свидание… (уходит на цыпочках).

Теперь уже вся комната погружена во мрак; только на Жанну падают сверху лучи света, окружая ее сияющим ореолом. Колокол продолжает отбивать полночь.

Жанна. О Боже, ты создал эту прекрасную землю, но когда же станет она достойна принять твоих святых? Доколе, о Господи, доколе?

ПРИМЕЧАНИЯ

Посвященная национальной героине Франции Жанне д’Арк (которая была канонизирована в 1920 г. папой Бенедиктом XI), пьеса занимает особенное место в творческом наследии Шоу. В рамках одного произведения ему удалось реализовать сразу несколько сложнейших художественных замыслов, что позволяет говорить о «Святой Иоанне» как о лучшей, а не просто одной из лучших пьес драматурга. Создавая хронику, Шоу продемонстрировал мастерское умение в обращении с историческим материалом; образ Жанны отличается художественной целостностью и психологической отработанностью. При этом писателю удалось структурировать пьесу таким образом, что главная героиня, повинуясь авторской воле, гибко взаимодействует со второстепенными персонажами, отчего создается эффект автономности действия: Жанна притягивает и вовлекает множество людей в событийный водоворот и, в то же самое время, сама находится под властью иного уровня и порядка событий; пьеса развивается как бы сама по себе, с той достоверностью и внешне заданной естественностью мотивационных основ, которые отличают всякое большое художественное произведение.

«Святая Иоанна» была написана в начале 20-х годов не только на вполне определенном историческом фоне; пьеса изначально задумывалась автором как полифоническая: в тексте присутствует полемика с теми предшественниками и современными авторами, которые в своем творчестве обращались к образу Жанны д’Арк. Бернард Шоу художественно, с помощью сугубо литературных средств, спорит с трактовками Орлеанской девственницы у Вольтера, Орлеанской девы у Шиллера; находим мы явную полемику с Жанной, известной по произведениям Марка Твена («Личные воспоминания о Жанне д’Арк») и Анатоля Франса («Жизнь Жанны д’Арк»). Просматривается также заочный спор с менее одаренными, но хорошо известными Бернарду Шоу современниками, на свой лад трактовавшими образ Жанны. Такого рода литературная полемика оказалась весьма продуктивной: героиня у Шоу вопреки осознанному желанию писателя, оказалась одновременно и синтезом прежних трактовок, принадлежащих другим авторам, и новым поворотом хорошо известной и много раз отработанной литераторами темы. Жанна считается лучшим женским образом драматурга: психологическая достоверность поступков здесь неразрывно соединена с обаянием энергичной молодой натуры.

Впервые «Святая Иоанна» была поставлена в 1923 г. в Нью-Йорке. Лондонская премьера состоялась 26 марта 1924 г. В последующие годы пьеса многократно возобновлялась в Лондоне, с большим успехом шла она в других странах.

Примечания

1

Каталина де Эраузо — испанская монахиня, жившая в XVII веке; ее жизнеописание было издано во Франции и Испании.

2

Домреми — Жанна д’Арк родилась в этой деревне, расположенной в Лотарингии.

3

Святая Тереза (1515–1582) — монахиня кармелитского монастыря в Испании; впоследствии удостоилась канонизации католической церковью.

4

Жорж Санд (1822–1899) — настоящее имя Аврора Дюдеван, известная французская писательница, автор многих романов. Экстравагантный образ жизни позволяет заинтересованным лицам видеть в ней прообраз современной феминистки.

5

Во имя Господа! (франц.)

6

Клянусь жаворонком! (франц.)

7

Уже был Вольтер… — анонимно изданная поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (1755) была включена католической церковью в перечень запрещенных книг, что, однако, не отразилось на литературном успехе этого произведения.

8

«Девственница» (франц.)

9

Выглядят Пекснифами… — В данном случае Шоу апеллирует к читателю, знакомому с романом Диккенса «Приключения Мартина Чезлвита».

10

Анатоль Франс (1844–1924) — настоящее имя Жак Анатоль Франсуа Тибо, французский романист, критик. В 1921 г. получил Нобелевскую премию по литературе «за блестящие литературные достижения, отмеченные изысканностью стиля, глубоко выстраданным гуманизмом и истинно галльским темпераментом».

11

Амулет (франц.)

12

Французский солдат (шутл. франц.)

13

Начиная от Карла Победоносного… — При французском короле Карле VII, прозванном «Победоносным», была завершена Столетняя война 1337–1453 гг.

14

В избытке (лат.)

15

Все понять — значит все простить (франц.)

16

Церковники (франц.)

17

Снять осаду с Орлеана. — Отряд французских войск под предводительством Жанны д’Арк освободил от англичан город Орлеан 8 мая 1429 года; отсюда ведет начало прозвание Жанны — Орлеанская дева.

18

В Реймском соборе Нотр-Дам происходили церемонии коронации французских королей.

19

Дьявол из машины (лат.)

20

Бог из машины (лат.)

21

Святая простота! (лат.)

22

Святой Афанасий (ок. 295–373), Афанасий Александрийский, выдающийся богослов, с 328 г. — Епископ Александрии.

23

Кто же сломал мне меч? — Перед Реймским собором находится памятник Жанне д’Арк: в руке у Орлеанской девы — сломанный меч.